# Е. Н. Чириков ...



Избранные разсказы.

## Е. Н. Чириковъ.



Изданіе редакціи журнала "ПРОБУЖДЕНІЕ". 1913.

Типографія "Т-ва Художественной Печати", Сиб., Ивановская, 14.

### БЛУДНЫЙ СЫНЪ.

Повъсть.





L

Петрь Трофимовичь спустиль съ вати ноги въ однихъ чулкахъ 14 оптупью искать на полу валенки... Въ сосълней комнать, столовой, топилась галанка: красный отблескь раскаленныхъ углей бросаль дрожащія свётовыя пятна поль, а чрезъ пріотворенную дверь проникаль и въ комнату Петра Трофимовича. слабо вспыхивая на голомъ темени старика... Должно быть, ужъ поздно: Васильевна топить печи два раза въ день, на разсветв и еще на ночь, потому что стоять моровы, и вь барскомъ старомъ дом'в плохо держится тепло.

- Это ты, Васильевна?—спросиль старикъ, заслыша возню около печки.
  - Я, батюшка...

Васильевна начала бить жельзной кочергой головенки, угли затрещали, и свъть яркой полосой запрыгаль на полу и дверномъ косякъ. Часы медленно пробили девять. Значить, теперь пришель уже на ближайшій къ нимъ полустанокъ повздь, съ которымъ долженъ прівхать и второй сынъ старика, Григорій.

- Уѣхалъ Никаноръ на станцію? спросиль Петръ Трофимовичъ хринлымъ спросонья голосомъ.
  - Увхаль. Поди, скоро будуть...
  - А Сергви Петровичь?
  - Уѣхали братца встрѣчать.
- Надо имъ повсть чего-нибудь приготовить... Спроворь самоваръ... Яичницу, что ли! Озябнуть... Слышишь?

Старикъ говорилъ хрипло и отрывисто, и казалось, что онъ сердится. Но онъ тольволновался, ожидая блуднаго Сердце улеглось. Богъ съ нимъ! Несчастный человъкъ. Не видались около надцати леть. Теперь намыкался по свету и вдеть къ отцу отдыхать, пишеть, усталь, наконець... Да, неудача имъ въ дътяхъ: старшаго, Сергвя, выгнали изъ иятаго класса гимназіи, літь пять онь шеголяль въ формъ вольноопредъляющагося, года три томился подпрадорщикомъ и коекакъ вылёзъ подпоручики; ВЪ другого, Григорія, тоже выгнали, изъ университета ужъ, потомъ отправили куда-то, потомъ отпустили и скоро опять куда-то отослали;

потомъ онъ самъ уже сталъ мыкаться, какъ бродяга, по свъту; мать такъ и умерла, не видавши Григорія съ тъхъ поръ, какъ его выгнали изъ университета.

Петръ Трофимовичъ надълъ валенки, зажегъ въ столовой лампу и, плотно запахнувшись въ пальто, которое носиль вмёсто халата, сълъ въ кресло и началъ думать о своей покойной жень, о Григоріи, о томъ, что Сергви любить водочку и сильно поигрываеть въ карты... Если бы Григорій кончиль курсь, теперь не было ыджун бы унижаться предъ всякими тамъ Виноградовыми... Сталь бы Григорій у нихъ скимъ начальникомъ, жилъ бы въ своемъ имъніи... Дуракъ. Теперь, върно, кается, да поздно, близокъ локоть, да не укусишь!..

Старикъ пыхтълъ, покашливалъ и что-то шенталъ и казалось, ему жизнь въ тягость, и въ тягость самая радость встръчи съ Григоріемъ. За окномъ или въ трубъ гудълъ вътеръ, ставень стучалъ гцъ-то желъзнымъ болгомъ,—и дряхлый домъ вздрагивалъ подъ порывами зимней вьюги... Глухо донесся собачій лай, такой злобный, съ подвываніемъ. Кажется, звенятъ колокольчики? Да, ъдутъ... Старикъ дрожащими руками зажегъ свъчу и торопливо направился къ передней—встръчатъ. Темнота раз-

ступалась передъ нимъ, и подъ свътомъ раздувающагося пламени свёчи вставали угрюмыя стіны, стрыя, съ пятнами на облупившейся штукатуркь, занесенныя снъледянымъ бордюромъ гомъ окна, съ стекламъ, старомодная, тяжелая и некрасивая мебель... Половицы иногда жалобно поскринывали подъ обутыми ВЪ ногами Петра Трофимовича, и быль похожъ на какого-то сказочнаго старика въ этомъ большомъ и **МОЛЧАЛИВОМЪ** помъ...

### — Сейчасъ! Сейчасъ!

Дверь распахнулась, и въ бълыхъ облакахъ ворвавшагося пара зашевенились три несуразныя фигуры, чъмъ-то обвязанныя, обмотанныя, занесенныя съ ногъ до головы снъгоить. Который изъ нихъ Григорій—не разберешь.

- Ни пути, ни дороги!—проивнесь Никалоръ, опуская на полъ чемоданъ прійзжаго.
- «Это воть Сергъй: пуговицы свътятся, а это, стало быть, Григорій... Борода въ снъгу, усы въ сиъгу, на головъ торчить башликъ пикой».
  - Здравствуй, отецъ!
- Здравствуй, здравствуй! Здоровъ ли?.. Снимай башлыкъ-то! Одинъ носъ

видно... Ахъ ты, этакій... Ну, теперь подойди ближе!..

Они попъловались и всколько разъ. Потомъ Григорій сталь снимать пальто, Петръ Трофимовичь все смотр'влъ ему въ лицо, особенно въ глаза и думаль: всёмь мать, вылитая мать!> и сердце старика заполнялось нъжностью къ «безпутному субъекту», — какъ называлъ отецъ Григорія, ш ему хотвлось смвяться оть радости и плакать о томъ, что воть Гриша, наконецъ, прівхаль, а Марьи Өеодоровны нъть, и она не знаеть объ этомъ и не можеть посмотръть, какая большая борода выросла у Гриши... Старикъ HOXJOпаль Григорія по плечу и сказаль:

— А меня, чай, не узналъ? Совсѣмъ я старикомъ сталъ, въ могилу гляжу... Идите въ столовую, тамъ тепло... Четырнадцатъ градусовъ... Ну, ну! Всѣ теперь... Только матери нъть...

Петръ Трофимовичъ засуетился, сбѣгалъ въ кухню и поругалъ Васильевну за промедленіе съ яичницей. Потомъ онъ подсѣль къ Григорію и снова сталъ похлопывать его по плечу и заглядывать ему въ глаза.

— Вск теперь въ сборт... Да!.. Только

матери нътъ... Да! Ушла она, наша мать, не дождалась тебя, Григорій!.. Да!

— Будеть ужь, папаша!—недовольно замътиль густымъ басомъ подпоручикъ— Что толковать ужъ!

А Григорій вдругь заморгаль глазами... Ему, такому большому и серьезному, выкшему за двенадцать леть не только отъ родительской ласки и опеки, но даже отъ мысли о родителяхь, давно уже ставшему чужимъ человѣкомъ для семьи всѣхъ и своихъ родственниковъ, вдругъ слълалось страшно жаль мать и мучительно больно сознавать, что онъ никогда уже болье увидить своей «мамани»... Теперь только смерть матери сдълалась для него какимъто чудовищнымъ, невъроятнымъ фактомъ! Ему захотвлось узнать про мать: когда она умерла, отъ чего, гдъ она похоронена, спранивала ли она на смертномъ одръ про него, Григорія.

— Отчего умерла мать?

— Да будеть ужь! Ну, умерла, значить—умерла... Не все ли равно? Что туть говорить!—опять пробасиль Сергъй и недовольно и сердито выпустиль «хм!», словно приказаль прекратить непріятные разговоры и тяжелыя воспоминанія.

Васильевна принесла сковородку съ

яичницей и не уходила. Она встала въ дверяхъ и внимательно, и нечально разсматривала своего молочнаго сына съ бородой и усами, такого обдерганнаго и лохматаго, съ остановившимися въ глазахъ слезами...

- Ненаглядный ты мой, касатикъ, ссколъ мой ясный, Григорій Петровичъ! Въдь выкормила я тебя!.. Не привель Богь родной матери, такъ хоть я на тебя погляжу!..—жалобно пачала она. Но Сергъй вышелъ изъ терпънія:
- Замолчи! Еще ты начнешь каркать? Маршъ! Чорть знаеть... Прівхаль отдохнуть, а вмёсто этого всю душу измотають... Точно на кладбищё себя чувствуешь... Право... Есть у васъ водка?
- Посмотри въ буфетъ... Кажется, осталось тамъ, въ графинъ...
- Ничего не осталось!—съ сердцемъ захлоппувъ дверцу буфета, пробасилъ подпоручикъ и сълъ.

Тихо стало за столомъ. Старикъ сердился на Сергъя, но сдерживалъ свое негодованіе. Онъ опустилъ глаза на полъ и только покрякивалъ и пыхтълъ. Григорій курилъ папироску и искоса посматривалъ на брата. Грубая, неинтеллигентная физіономія; что-то фельдфебельское отпечаталось на этомъ лицъ, и было трудно примириться

сь фактомъ, что это и есть Сережа, тоть самый гимназисть, старшій брать, другь и товарищь, сь которымъ въ далекомъ дётстве они имерля столько общихъ радостей и нечалей... Совсёмъ чужой человекъ, далекій, внушающій антипатію...

- А ты, Григорій, худой какой! Кашляены...—замётиль отець.
- Да. Ничего, это про<del>йде</del>ть,—отв'ютиль Григорій.
- Продуло,—хмуро бросиль Сергви и, вставъ со стула, началъ прохаживаться взадь и впередь по комнатв и насвистывать: «Я—цыганскій баровъ».
- Сергъй! Если хочешь свистать, уйди въ залу... Я тебя просиль,—тихо, но раздраженно сказаль отець.

— Вотъ еще, какія нѣжности при нашей бѣдности... Скажите, пожалуйста!.. Могыть уйти-съ...

Онъ ушель и продолжаль свистать. А за окномъ тоскливо вториль ему вътеръ, и иногна трудно было разобрать: бурань это или подпоручикъ выводить тоскливыя нетки.

— Ты, Гриша, усталь въдь съ дороги?.. Ты ложись здъсь на софъ, здъсь тепло, четырнадцать градусовъ... Дверь въ залу затвори, чтобы тепло не уходило... А я сплю все на старомъ мѣстѣ... И все тамъ осталось по старому, кажъ было при матери... И зеркало ся осталось на столикѣ. Пусть стоить! Эхе-хе. Худой ты какой! Сергѣй вонъ плотный, какъ стальной, а ты—плохой... Тебѣ надо отдохнуть, бросить всѣ эти глупости, успоконться... Что толку? Пора и къ пристани, Гриша! Мать передъ смертью сказала: если вернется Гриша, скажи, что я ему прощаю... Да! Ну, спи! Завтра поговоримъ, ты усталь...

Въ спальнъ у Петра Трофимовича ръда дампадка. Лежа въ постели съ закрытыми глазами, старикъ быль полонь тихой грусти и радости, и сознаніе, что Григорій вернулся и спить туть, рядомъ, какъ-то успокаивало, баюкало его, и отдувался, и улыбка время оть времени скользила по старому лицу. Но Григорій капіляль, и это портило настроеніе тихой радости и успокоенія. Этоть кашель, такой сиплый и безсильный, отдавался прямо въ сердцѣ старика, тревога прокрад ввалась въ его душу, и не было силь заснуть .. «Выповторяль Петръ литая мать!> мысленно Трофимовичь, вспоминая выражение: глазъ Григорія, и въ мозгу его снова вси вывали воспоминанія объ умершей два год а тому назадъ женъ, о ея привычкахъ, о и юслъд-

нихъ минутахъ жизни—и тогда старикъ ворочался въ большой и широкой постели и все ему казалось, что онъ лежитъ неудобно...

И Григорію тоже не спалось. Онъ иснытываль такое опіущеніе, словно долго-долго все куда-то шель, и путь быль такой утомительный, а когда онь, усталый и измученный, прилегь отдохнуть, то, оглянувшись кругомъ, къ своему удивленію, увидёль, что онъ лежить на томъ самомъ мёсть, откуда вышель въ дорогу...

Въ той комнатъ, гдъ лежалъ теперь Григорій, когда-то была дітская, а на мізств софы, на которой онь теперь спаль,кроватка Гриши... Все это было очень давно, но теперь прошлое какъ-то сократилось, прожитые годы казались такими маленькими и мелькали въ памяти, какъ дни, Григорію казалось, что онъ только убажаль куда-то по двлу и опять прівхаль... мягко, тепло и удобно было лежать на софѣ; казалось, что вся усталость, шаяся за время всей прожитой жизни, теперь уходила куда-то назадъ, и на душъ прояснялся покой и миръ... Прислушиваясь ить тиканью часовъ и къ песнямъ зимпей метели за окномъ, Григорий тоже удыбалсы, какъ выздоравливающий больной, въ которомъ пробуждается трепеть безсознательной радости жизни... Похоже на то, что Григорій действительно причалилъ пристани, бросиль якорь... Онь усталь, невыносимо усталь жить этой нервной, полной безчисленныхъ превратностей и терзаній жизнью интеллигентнаго пролетарія. усталь оть безполезныхъ, никому BCHVX:ныхъ страданій, оть лжи и фарисейства. въ которыхъ тонеть культурный человъкъ, усталь оть надойвшихь безполезныхь споровь, больныхъ самолюбій, взаимныхъ непониманій и оскорбленій... А, можеть быть, онь ушель теперь и оть сознанія, страшнаго сознанія своей пенужности, этого итога прожитой жизни... Теперь онь не принадлежить, не задается никакими принципіальными планами И задачами жизни... Теперь онъ просто больной и усталый человікь, который хочеть покоя и отныха. Здёсь онь возьметь клочокъ земли и будеть работать и жить просто, безъ всякихъ плановъ, какъ живутъ милліоны людей... Чёмъ гордиться? Какъ считать себя предназначеннымъ къ какой-то особой высокой миссіи, если въ результать получилась одна усталость и сознаніе своего безсидія и ненужности? Онъ будеть жить на своемъ клочкъ земли, и пусть его

оставять въ поков... Онь останется съ глазу на глазъ съ природой, съ ен ясными и непреложными законами, съ ен собственной справедливостью, красотой и правдивостью, отдыхая отъ всякихъ мукъ, сомивній, ссоръ и всей этой безсмысленной сутолоки... У него болитъ грудь, истрепаны нервы, нътъ въры въ необходимость страданій... Онъ будеть отдыхать... Уфъ!

Приступъ канця, сиплаго и настойчиваго, оборваль тихія думы Григорія. Онъ долго не могь остановить этоть канцель и усталь, когда онъ прекратился.

— Ты все канцияень...

Григорій раскрыль глаза и увид'єль отца: онь стояль вы дверяхы, завернувнись вы пестрое од'євлю, со св'єчой вы рукахы.

- Надо вышить воды съ вареньемъ, тогда стихнеть.
  - Не безпожойся... Тенерь прошло...

Старикъ, гремя посудой, порыдся въ буфетъ, принесъ изъ своей комнаты графинъ съ водой и, сдълавъ питье, подаль сыну.

— Воть... Выпей! Помогаеть... У меня быль кашель, ужасный кашель, такъ я телько этимъ и спасался...

И пока Григорій пиль, старикь смотрыть ему въ лицо и думаль: «Вылитая

мать!» Потомъ онъ подсёль на софу, въ ногахъ у Григорія, и сказаль:

— Не спится что-то... Все думаю о томъ, о семъ... какъ это все устроится... Я думаю тебъ здъсь сдълать кабинеть, ты любищь почитать и пописать -- а столовую можно перенести рядомъ... Здъсь тепло, а ты все каньнень Теперь ужь отдыхай, здоровье, можеть быть, еще все устроится. Дъна у меня пошатнулись, все-таки, если жить экономно и осмотрительно, прожить можно, проживемъ... па! только бы Богь помогь намъ развязалься сь мерзавцемъ Виноградовныъ... Я взяль у него подъ вторую закладную... Въда нынче нашему брату, хозяину... да! Однихъ процентовь я выплачиваю этому подлецу пятисоть рублей ежегодно... А имвніе всего-то въ хорошій годь даеть полторы тысяче... Горки мы вёдь давно ужъ продади этому мерзавцу за безцёнокъ...

Потомъ старикъ сталъ подробно разсказыватъ, какъ они разорились и, упоминая о Виноградовъ, всегда прибавлялъ къ нему «подленъ» или «мерзавецъ».

— Если я умру, будьте съ нимъ осторожнъй, не довъряйте, Боже васъ избави! Я ничето съ собой не возьму, все останется вамъ съ Сергъемъ. Сергъй все-тажи на ногахъ, а тебъ надо будеть кръпче держаться за имъніе. Надо подняться. Можеть быть со временемъ, ты зарекомендуешь себя предъ начальствомъ, поправишь свою репутацію и можно будеть поступить на службу... Все это возможно. Бывали случаи. Хорошо бы-въ земскіе начальники!..

Григорій слушаль и молчаль, но когда старикь началь говорить о поправленіи репутаціи и о поступленіи въ земскіе начальники, то нетерп'вливо произнесь:

- Ахъ, оставь, отецъ! Все это—неисполнимые проекты...
- Что же, ты въдь ничего не укралъ, никого не ограбилъ... Ты только потерялъ въ жизни малкъ... да! А теперь ты его нашелъ. Не всякое лыко въ строку. Бывали случаи. Не надо отчаиваться, Григорій... Воть ты кашляешь,—это нехорошо...

Григорію хотвлось сказать, что онъ ни въ чемъ не раскаивается и что никакого маяка не нашель еще въ жизни, что онъ не желаеть поправлять свою репутацію и ни передъ квить не хочеть себя зарекомендовывать. Но зачвить? Только обидищь старика, нотому что онъ не пойметь. Пусть думаеть и говорить, что хочеть и что думаеть...

— Поживень туть смирненько, безъ всякихъ такихъ идей... Поможень мий ве-

сти хозяйство. Одному трудно. Народъ теперь-вольница; кричать, что онъ голодаеть, а онъ пьянствуеть... Звёрье дикое, грубое!.. Беругь задатки и бъгуть, и ничего не подължень... Что тамъ ни говори, а рало дали ему свободу. Покуда волкъ ручнымъ не станетъ, его нельзя спускать съ цъпи... А за этихъ лентяевъ и пъяницъ мечтатели себя губять. Воть поживень — увидинь! А когда я умру, и ты самостоятельно будень вести хозяйство, ты не разъ вспомниць отца. Я теб'в говориль это и рапьше... воть, что изъ всего этого вышло: потеряна карьера, ты кашляешь... Я тебъ всегда говориль. Мы съ матерью не желали теб'в худа... Ну,что жъ... Теперь какъ-нибудь все это устроится... Не надо отчаиваться. Мать сказала: если вернется Грина, скажи ему, что я прощаю... да! Ну, Богь съ тобой. Спи! Я тебъ все мъщаю... Эхе-хе! Мечтатели!..

Старикъ покачалъ головой и пошелт. Григорій смотрѣлъ ему вслѣдъ недоумѣвающими глазами и, когда старикъ исчезъ за дверью, вздохнулъ и закрылъ глаза. Онъ едругъ страшно усталъ; что-то стало тяготить его душу, и исчезло прежлее настроеніе, будто онъ, наконецъ, пришелъ... За окномъ бъсновалась вьюга, и это безпокопло Григорія, словно ему предстояло идти ку-

19 2\*

ца-то дальше въ эту вьюгу, но накому-то важному дълу, и словно онъ прилегъ адъсь только отдохнуть на перепутьи и говориль сейчась не съ отцомъ, а съ хозяиномъ постояваго цвора, гдъ остановился.

#### Π.

Было морозное, веселое утросверкань на солнив, и ситъть скрипфль поль ногами и казался бъльциъ. TAKEM'S что слъпиль глаза. Всв печи въ постройкахъ хутора топились, и дымъ поднимался наль нимь высокими фіолетовыми столбами. Въ Горкахъ, которыя Петръ Трофимовичь продаль мерзавцу Виноградову, быль храмовой празиникъ, и старикъ поднялся очень рано и сталь собираться Горки къ объднъ. Онъ вздиль туда каждое воскресенье, а на этоть разъ хотвль ваять съ собой Сергвя и Григорія, чтобы послів объдни отслужить панихиду на Марьи Осодоровны. Сперва старикъ разбудиль Сергвя, а будить Григорія медлиль, жальль: «Пусть посиить еще немножко!» Сергый всталь злой; ему было лынь подниматься съ теплой постели; поэтому громко каппляль, плевался и дико кричаль на Васильевну, какъ онъ привыкъ кричать на своего ненинка.

— Дурища, эка дурища!—гремъль его басъ на всв комнаты.—Ну! Живо!

- Ты ужъ всталъ? Добре, добре!..—сказалъ отецъ, проходя мимо.—Ну, умывайся, да надъвай сюртукъ,—добавилъ онъ, окинувъ Григорія бъглымъ взглядомъ.
- У меня сюртука нѣть. Я думаю, можно и въ этомъ...

Старикъ еще разъ обозрълъ Григорія и, върно, ему что-нибудь не понравилось, потому что онъ сморщилъ брови.

— Надо сюртукъ Бхать такъ неудобно. Послѣ панихиды мы проѣдемъ къ Виноградовымъ; тебѣ надо познакомиться, сдѣлать визитъ, потому что этотъ прохвостъ можетъ тебѣ пригодиться. Тебѣ надо какъ-нибудъ подняться, поправить репутацію...

Григорій, котораю старикъ раздражалъ проектами исправленія репутаціи, закашлялся и, когда кашель утихъ, съ досадой сказаль:

- Мерзавцы и прохвосты мий не могутъ пригодиться. Можно обойтись безъ визита.
- Это все старая закваска!—отвътилъ старикъ и недовольно прибавилъ:
- А, впрочемъ, твоя воля… Я тобъ, Григорій, худа не желаю… Какъ хочешь, только послъ не пеняй…
  - Не буду пенять, повърь ужь!..

Вошелъ Сергвй. Онъ былъ въ парадной формв, съ эполетами на приподелтыхъ плечахъ, съ выпяченной колесомъ грудью, съ перетянутой серебрянымъ кушакомъ таліей и съ густо нафабренными и закрученными въ струнку усами, которые издали были похожи на два сложенныхъ шляпками гвоздя.

- Шашку!—закричаль онъ громовымъ голосомъ, и когда перепуганная Васильевна впопыхахъ прибъжала и подала ему шашку,—перекинулъ лакированный ремень ся черезъ плечо и спросилъ Григорія:
- A ты что, въ этомъ обдергайчикъ развъ поъдешь?
  - Въ обдергайчикв.

- Мило! У Виноградовыхъ тебя примуть за нашего лакея!
  - Я къ Виноградовымъ не собираюсь.
- Да въ церковь—неудобно! Тамъ бывають порядочные люди...

Григорій ухмыльнулся, но промолчаль; онъ бросиль на брата ироническій взглядь и подумаль: «Настоящій фельдфебель».

У крыльца топталась малорослая вятская лошадка, такая кругленькая, сытая и сильная. Время оть времени KOMY-TO она кланялась, позванивая имыньвекаисп уздъ бубенчиками, и тогда казалось, OTP гдъ-то сыплется дождь изъ мелодичныхъ колокольчиковъ. Никаноръ похаживалъ покуривалъ сколо кошевки и папироску, ожидая выхода господъ. На немъ быль сърый пиджакъ на ватъ и картузъ мъщанина на головъ: только большія рукавицы, которыми Никаноръ похлопывалъ, чтобы согръть руки, да валеные сапоги крас-СЪ горошкомъ изобличали мужика. Сивгь хруствиь подъ этими громадными валенками, и гигантскіе сліды отпечатывались около санокъ.

Сергъй стояль у окна и смотръль на лошадку Никанора. Онъ слегка барабаниль по стеклу пальцами и пристукиваль каблукомъ своего лакированнаго сапога. Ему котълось еще поговорить съ братомъ на ту же тему, но не подвертывалось подходящаго повода.

— Удивительное діло,—сказаль онъ, наконецъ, какъ бы размышляя и ин къ кому

не обращаясь. — Удивительное дёло: мужики стараются походить на господь, а господа—на мужиковь. Все шивороть навывороть!.. Что мужикъ старается вылёзть изъ мужиковъ—мий это понятно, всякому хочется подняться, а что воть нёкоторые господа лёзуть въ мужики и стараются сдёлаться мужиками, — этого, ей Богу, никакъ въ толкъ не возьму!..

«Выстралиль!» понумажь Григорій, но не отватиль на вызовь Очевидно, этоть выстраль быль направлень въ Григорія: вчера онь размечтался и вскольвь подалился своимь намареніемь взять ключокь земли и жить, какъ живуть милліоны людей. Не стоило говорить, потому что они не въ состояніи понять внутренній смысль такого рашенія. Отець появился во фрака и въ большихь, громыхающихь по полу кало-шахь.

- Готовы? А ты, Григорій, все-таки въ
- Въ обдергайчикъ, отвътилъ за брата Сергъй.
  - Я не повду, сказаль Григорій.
- Твое дѣло, твое дѣло...—недовольно бросиль на ходу старикъ и пошелъ, и было слышно, какъ онъ сердито хлоннулъ гдѣ-то дверью.

Они убхали. Григорій остался одинь. Вошла Васильевна и сказала:

— А ты, Григорій Петровичь, не повхаль на могилку къ мамашѣ?

И въ ен голосъ послышался упрекъ и обида.

— Сколько слезъ за тебя мамаша-то прожила!.. Какъ она убивалась за тебя!.. Не гръхъ бы тебя за нее помолиться... Охо-хо! Прости намъ окаяннымъ, Господи!—вздохнувщи, закончила Васильевна и вышла, печальная и задумчивая.

Григорій долго и упорно ходиль по комнатамъ, и въ мозгу его совершалась какаято торопливая, но безсознательная тревожная работа.

Чего-то недоставало, словно онъ потерялъ что-то или съ нимъ случилось что-то очень скверное, но что именно потерялъ или что случилось—было непонятно. И это его безпокоило, и безпокойство все росло, росло, и весь организмъ заполнялся какойто тоской и отчаяніемъ, и онъ не находилъ мъста въ этомъ большомъ домъ, гдъ онъ родился... Присъвъ на диванъ, въ залъ, Григорій взялъ со стола альбомъ съ фотографическими портретами и отыскалъ мата: на карточкъ она была снята молоцой, съ двумя дътьми: Сергъй стояль, а Григорій,

такой полненькій сь годыми ножками карапузъ, сидъль на рукахъ у матери съ удивленно вытаращенными глазами... Лолго Григорій смотр'вль на этоть портреть, какія-то смутныя воспоминанія начинали бродить въ его намяти, а со дна души нималось сожальніе о чемъ-то потерянномъ и невозвратномъ.. И чъмъ больше Григорій смотрълъ, тъмъ больше проясиялись эти воспоминанія, и одинъ моменть показалось, что Григорій даже помнить, какъ ихъ снимали... Но, конечно, то быль обмань воображенія, потому что этому карапузу съ ленькими ножками, перетянутыми у ступней ниточкой, было не больше трехъ лътъ... Григорій смотръль на молодую мать, и ему не хотелось верить, чтобы мама, съ такими добрыми и ласковыми глазами, съ такой любящей. полной материнскаго улыбкой на лиць, не могла понять, что онъ, Григорій, быль только честным человікомъ и что онъ не виноватъ ни въ чемъ передъ ними. Григорій думаль, что одна мать могла бы, можеть быть, понять теперь, какъ и почему все такъ случилось сь нимъ, и если не понять, то повърить, что онь всю жизнь отдаль людямь и что перь онъ усталъ и обезсилълъ, что у него болить грудь и больше нъть силь скитать-

ся... Вынувь изъ кармана пиджака носовой платокъ, онъ приложилъ его къ глазамъ и порывисто вскочилъ съ мъста...

Въ полдень прівхали изъ Горокъ отецъ съ Сергвемъ. На лицв старика была жественность и то особое выражение серьезности и умиленія, которое запечатлъвается обыкновенно на лицъ върующаго человъка при совершении религіозныхъ инствъ и обрядовъ. Онъ ходилъ тихо, словно носиль въ рукахъ что-то хрупкое, голову держаль прямо, и какая-то тайная высокая дума, казалось, не покидала его тогда, когда онъ сълъ за объдъ. Онъ былъ молчаливь и смотрёль куда-то словно не видълъ сидъвшихъ противъ него Сергъя и Григорія.

Сергъй былъ румянь, бодръ и веселъ, и, казалось, жизнь играла въ этомъ здоровомъ и кръпкомъ тълъ. Онъ былъ очень доволенъ собой: въ бъдномъ сельскомъ храмъ, гдъ молились все темные и пугливые люди, по-явленіе Сергъя было цълымъ событіемъ; блестящая форма заставляла эти темныя головы предполагать въ Сергъв очень важную и крупную особу, вродъ исправника или даже губернатора, и когда Сергъй звонко прищелкивалъ шпорами по каменному полу церкви, то всъ торопливо сторони-

лись, разступались и, давая ему дорогу, шентали сосъдямъ: «Пропусти, али не винишь?» Впереди, вблизи клиросовь, стояда чистая публика: мужчины—направо, шины-нальво: нальво пестрыло нъсколько шляпокъ съ яркими цвътами, и Сергъй не разъ съ удовольствіемъ замічаль. всѣ піляпки повертываются въ его сторону и нто женщины въ пляпкахъ заботятся о собственномъ впечатлівнім на Сергівя, лишь только онь по-ординому повернеть голову налъво... Его отмътили даже священнослужители: для него была нарушена привилегія станового пристава первымъ приложиться къ кресту и поздороваться съ тюшкой, а дьячокъ, съ похожей на хвостикъ косичкой позади, подавая Сергъю просфору на блюдив, подобострастно улыбнулся и сказаль: «Съ праздникомъ, ваше высокоблагородіе», и всё это слышали, а становому не понравилось...

Объдъ быль торжественный. Сперва Васильевна подала кутью, чтобы помянуть покойницу, Марью Осодоровну. Отоцъ перекрестился и осторожно съ благоговъніемъ съъль нъсколько ложекь этого символическаго кушанья. Сергъй тоже съъль нъсколько ложекь съ почтеніемъ, а потомъ наложиль себъ кутьи на тарелку и сталь

всть какь канту. Отень взгиянуль вь сторону Григорія, и тому показалось, что старакъ хотель посмотреть, есть ли Грагорій кутью. Грагорій чувствоваль КЪ брезгливость: она осталась у него съ дът-CIPS H HOSBHURCL HOCKE TOFO, KREE SAKOHOучитель вь гимназіи объясняль эпачаніе куты такъ: «Зернышекъ много, — и покейниковь много, изюминки сланки, —и нокойничкамъ тамъ сладко». Чтобы не обидъть, однако, отца, Григорій ваяль вилку и, отбрасывая въ сторону изюминки, сталъ ъсть однъ рисовия зерна-

— Это не игрупка!—недовольно сказаль старикъ и отодвинулъ блюдо съ кутьей отъ Григорія. 

- По-ихнему, папаша, все это одна комедія и предразсудки!—насм'єшливо пробасиль Серг'єй и, проглотивь посл'єднюю ложку своей порціи кутьи, вытерь усы салфеткой и весемо сказаль:
- A теперь можно раздавить и чепурышечку!

И выпивъ рамку водки, овъ съ удовольствіемъ пустилы «брр!».

Григорій (жділь за столомь и чувствоваль себя неловко и натянуто, словно оны и въ самомь д'алі въ чемъ-то провинился передь этими лаодьми. Гаце онъ чувствоваль,

что отецъ съ Сергѣемъ говорили между собою о немъ, Григоріи, и въ чемъ-то оказались согласны, солидарны другъ съ другомъ. По временамъ они обмѣнивались взглядами, по временамъ отецъ исподлобья взглядывалъ на Григорія, и въ этомъ взглядъ Григорій улавливалъ, кромѣ недружелюбія, еще озабоченность и безпокойство. Можетъ быть, отецъ опять говорилъ о немъ со становымъ...

- Тебъ, Григорій, не мъщало бы остричься, космы отросли, какъ у дьячка!—сказаль старикь, между прочимъ, кончая объдать.
- Это, братецъ, теперь ужъ вышло изъ моды,—замътилъ Сергъй, отдуваясь отъ излишка принятой пищи. Нигилисты нынче подтянулись: стригутся «подъ польку» и не носять красныхъ рубахъ.

И, сказавь это, Сергьй бросиль взглядь на отца съ такимъ выраженіемъ, когда человъкъ бываетъ убъжденъ, что встрътить поддержку.

— Оставьте меня въ покоъ!—крикнулъ Григорій. Въ его голосъ зазвенъла злоба, и онъ сталъ кашлять. Этотъ кашель встря-хивалъ все это тощее тъло, и, казалось, что въ груди у Григорія что-то сидить и держится когтями, а онъ всъми силами нег-

кихъ старается выбросить это **«что-то» вонь** и никогда не выбросить...

За вечернимъ часмъ они сидъли молча и тяготились другъ другомъ. Отцу нездоровилось: онъ кряхтълъ, и на лицъ его было такое выраженіе, словно ему бередили незажившую рану. Сергъй читалъ «Новое Время», звонилъ чайной ложечкой о стекло стакана и время отъ времени произносилъ «хм!».

- Я всёхъ бы ихъ перевёшаль, и дёлу конецъ!—вслухъ подумаль онъ, отбросивъ газету и принимаясь за чай.
  - Кого ты это? -- хмуро спросиль отець.
- Жидовъ. Началъ бы съ этого самаго Дрейфуса и кончилъ послъднимъ пархатымъ жидомъ.
  - A TTO?
- Помилуйте! Изъ-за одного какого-то, съ позволенія сказать, паршиваго жида трясется все государство, оскорбляется честь арміи! Повъсить на первую осину, и дълу конець! Хм!.. А ты, мильйшій, чему же смъешься?—вызывающе обратился вдругь онь къ Григорію, замътивъ на лицъ того ироническую улыбку.
- Слишкомъ ужъ ты строгъ, котя и несправедливъ... Если бы тебя, Сергъй, неожиданно сдълали, какъ Санчо Панса, гу-

бернаторомъ какого-нибудь острова, то, навърное, тамъ скоро не осталось бы жителей...

- А я думаю, братець, что и такихъ, какъ ты, Донъ-Кихотовъ ставить къ дълу не годится...
- И это правильно!—спокойно отвътиль Григорій.— Такіе Донь-Кихоты, какъ я, не годятся даже на пушечное мясо...

Сергви вспыхнуль.

- Это пушечное мясо, милъйшій, проливаеть кровь за отечество, не щадить своего живота, а не мъщаеть помнить, что сказано: нъть выше подвига, какъ положить душу за други своя... Воть что, братецъ!
- Ты говоринь такъ, словно ужъ не пощаниль живота и положилъ душу,—замътиль Григорій, и ему стало такъ смѣнно и весело, что онъ громко расхохотался.—И потомъ, Сергъй, это сказано про душу, а не про животы... Придетъ время, когда не надо будетъ такъ безпощадно относиться къ своимъ и чужимъ животамъ, и тогда... тогда вамъ нечего будетъ класть!

Сергъй вскочиль со стула и, стукнувъ по столу кулакомъ, закричаль дико:

— Прошу со мной не шутить! Я могу забыть, что ты мой брать!..

Съ этими словами Сергъй вышель въ

заль, захлопнуль дверь за собой такъ сильно, что чайная посуда на столъ вздрогнула. Григорій сидъль съ недоумъвающей улыб-кой на лицъ и смотръль какъ-то себъ въ бороду. Отецъ покрякиваль и насупиль брови. Нъсколько минутъ прошло исъ молчаніи, а потомъ старикъ началь:

- Григорій! Я тебя попросиль бы не разводить передъ нами нигрализма и атеизма,—это во-первыхъ! А во-вторыхъ...
  - Во-вторыхъ?

— Во-вторыхъ, не оскорблять насъ съ Сергвемъ своими неумъстными шуточками. Я слишкомъ старъ, чтобы служить для нихъ мишенью, а Сергвй, какъ никакъ, представитель русскаго цворянства, отъ котораго ты открещиваешься, и... русской арміи... да! Я долженъ тебъ сказать...

Григорій смотрѣлъ широко раскрытыми глазами на отца и не зналь, вѣрить ли своимъ ушамъ. Онь и не замѣтилъ, какъ нанесъ столь тяжкія оскорбленія отцу и брату!.. Оперши голову на руки, Григорій слушалъ, какъ плавно, методично, словно дождевая вода съ крыши, лилась обличительная рѣчь старика, и въ тактъ словамъ и удареніемъ поматывалъ головою, словно соглашался во всемъ...

— Ты мив писаль, что усталь нрав-

ственино и физически, и я думаль, что ты наконецъ образумился, бросилъ свои разныя этакія идеи и хочешь успокоиться п жить, какь живуть всѣ благоразумные. честные люди... А ты, оказывается, вовсе не думаль уставать и намфрень воспользоваться моимъ приглашеніемъ для своихъ ціальных затьй, хочешь что-то тамъ учрелить на моей землъ... Тебя не останавливаеть ни благородное происхожденіе, ни то, что мать простила теб'в передъ смертью вс'я твои галости, ни болъзнь твоя, ни мысль. что когда-нибудь надо же взяться за честное діло... Я тоже усталь, дійствительно физически... Я усталь, и нравственно, и старъ и, кто знаетъ, дни мои, можетъ быть, сочтены... Хоть бы предъ гробомъ-то ты... пожальль... да... меня...

Голосъ старика изъ методичнаго и сухого сдѣлался вдругъ нервнымъ, задрожалъ, глаза стали моргать, а ввалившіяся въ беззубый ротъ губы—конвульсивно кривиться.

— Сколько горя мы уже пережили черезъ тебя, Григорій! Если бы собрать всъ слезы, которыя мы... съ матерью...

Старикъ махнулъ рукой, замолчалъ и сталъ всхлипывать, какъ ребенокъ послъ продолжительнаго плача. Когда Григорій

слушаль методическую рачь, на его лица красныя пятна, и въ вспыхивали закипало негодованіе; по временамъ хотълось зло расхохотаться прямо въ лицо старику или оборвать его дикія слова оскорбленія крикомъ «замолчи!» и стукнуть кулакомъ по столу, какъ это сдълалъ давеча Сергви, — но когда Григорій услышаль эти всхлипыванія, и когда увидаль моргающіе глаза и искривленныя губы,-то онь вдругь почувствоваль себя шенно беззащитнымъ, и ему самому захотълось плакать, но не было слезъ, а было только трудно дышать, не хватало воздуха, и что-то давило на мозгъ... А старинъ все всхлинываль, голова его, съ голымъ темонемъ и съ клочьями съдыхъ волосъ, тряслась на рукахъ, и плечи вздрагивали...

Григорій соскочиль вдругь со стула и, приблизившись къ отцу сзади, обняль рукой его шею и, перекинувшись черезъ плечо, сталь цёловать его колючую, мокрую и соленую оть слезъ щеку.

— Перестань, отець! Успокойся... Мы не можемъ только понять другь друга. Я, отець,—не злой человінь... Ніть... Я ни въ чемъ не виновать... Что горя я причиниль вамъ много—это такъ, правда!.. Ну за это прости меня, какъ мать!.. Я не виновать...

85

3\*

Нѣтъ...—говорилъ Григорій и весь дрожаль, какъ въ лихорадкъ...

— Богъ съ тобой, Григорій! Мы... съ матерью не могли тебъ желать худа... да!.. Мы знали, что сердце у тебя доброе... но тебя смутили... эти... Будь они прокляты!— со стономъ выкрикнулъ старикъ и какъ-то трагически погрозилъ въ пространство кому-то пальцемъ.

Вошелъ Сергъй, онъ услыхалъ плачъ отца и весь кипълъ негодованіемъ.

— Развъ у нихъ сердце, папаша? Хм... Они не признають брака, а слъдовательно не могуть чувствовать и сыновней любви, жалости къ отцу... У нихъ «вънчали вокругъ ели, а черти пъли...» А насчеть собственности у нихъ: «Что мое, то мое, а что твое, —тоже мое!»

Григорій отопієль въ сторону. Опъ мелькомъ взглянулъ на брата, и взглядъ этотъ быль безстрастенъ и безразличенъ, словно Григорій видѣлъ предъ собою не Сергѣя, а такъ, какой-то неодупієвленный предметь... Онъ тихо пошелъ прочь, съ опущенной головой, и въ походкѣ его, какъ и во всей фигурѣ, было что-то беззащитное и безвыходное.

Григорій ходиль по своей комнаті и курилъ папироску за папироской. Чтобы не мъщать прихворнувшему отцу спать, онь сняль ботинки и ходиль въ однихъ чулкахъ. Шаги его мягко и глухо отдавались въ и ирон Енишит заставляли **TYTKVIO** Baсильевну прислушиваться и безпокоиться: она не могла понять, гдё ходять, и, по обыкновенію, предполагала воровъ на локъ, гдъ у нихъ стоитъ сундукъ съ разнымъ хламомъ.

Ночь была лунная и тихая. Снъгь блисталь синими огоньками, и въ комнатѣ прожаль мягкій голубоватый отблескь наго сіянія. Было такъ тихо въ дом' и на дворъ, что казалось, будто снъгъ подъ ногами карауливнаго хуторъ мужика стить въ комнатахъ, а протяжный звонъ колокола Горской церкви, отбивавшаго «часы», слышался такъ ясно и отчетливо, словно церковь стояла на дворъ, а не въ Горкахъ, за четыре версты отъ хутора... Когда Григорію надобло ходить взадъ и впередъ, онъ подходилъ къ окну и смотрълъ на лунную ночь... Тамъ было такъ спокойно и тихо, словно всё люди на землё умерли и остался одинъ только онъ, Григорій, да этоть лунный свёть, такой странный и загадочный... Ночь точно о чемъ-то думала. Казалось, она что-то знаеть, но хранить втайнъ и никогда не скажеть того, что она знаеть... Быть можеть, она думаеть о людяхъ и жальеть этихъ несчастныхъ пигмеевь, устроившихъ себъ адъ на землъ въ ожиданіи рая на небъ, гдъ теперь безстрастно и величаво остановилась лупа...

Дверь въ залъ раскрыта; на полу легли твни отъ переплета оконныхъ рамъ; углу стоять старыя забытыя клавикорды... На этихъ клавикордахъ мать играла гда-то «Молитву дъвы»; когда, на-дняхъ, Сергый началь играть на этихъ клавикордахъ, то они словно заплакали и закапиляли проволокой... И все-таки они стоять и стоять, а матери, которая играла на нихъ «Молитву дѣвы», нътъ. Да, матери нътъ... И того Сережи, гимназиста, съ которымъ въ дътствъ они жили душа въ душу, жили одной жизнью и понимали другъ друга съ полуслова — тоже нътъ... Онъ исчезъ безследно, и, кажется, что подмѣнилъ eroкто-то большимъ и грубымъ человъкомъ, который кричить, стучить, говорить: «Нука, раздавимъ чепурышечку!» и насвистываеть: «Я-цыганскій баронъ»... И orna

ньть, предъ которымъ онъ когда-то благоговълъ, и каждому слову котораго върилъ... И никого нътъ на свътъ, кто бы псиялъ, какъ онъ усталъ и какъ болитъ у него грудъ... Отъ этого одиночества жутко и холодно и никуда отъ него не уйдешь, потому что оно, какъ тъпь, идетъ по слъдамъ...

Григорій прилегь на софу. У него запружилась голова, можеть быть оть думъ, какъ вихрь, кружащихся въ мозгу, а можеть быть просто отъ долгаго хожденія по комнать. Когда онъ закрыль глаза, то ему чудилось, что софа, вмъсть съ его тъломъ, двигается плавно и безшумно, какъ лодка по тихой водь. И опять ему казалось, что онь все время куда-то вхаль, потомъ остановился немного отдохнуть и **ЧТКПО** Ъхалъ дальше... Куда? Это неясно... А когда онъ уснуль, то ему приснился глупый сонъ, будто онъ летаетъ на этой самой софъ по воздуху и нигдъ не можетъ остановиться, потому что, какъ только софа начнетъ опускаться на землю, появляется откудато Сергви, въ полной парадной формв, и кричить: «шашку!» — и тогда софа, покачавишсь на мѣстѣ, опять поднимается летитъ...

Утромъ онъ всталъ вялый, развинченный, и всъ члены его болъли, словно за

ночь его избили. Въ головъ носился туманъ, знобило, и во рту ощущалась сухость. Первымъ дъломъ онъ вытащилъ изъ-подъ софысвой чемоданъ, раскрылъ его и задумался. Въ этомъ положеніи его засталъ отецъ. Теперь старикъ ходилъ мягко, смотрълъ кротко, и въ глазахъ его свътилась добрая задумчивость.

я видѣлъ — Сегодня снъ BO нашу мать, — заговориль онъ вздохнулъ.--И Будто она пила съ нами чай и все торопилась... А когда я спросиль ее, зачемь она торопится, то она сказала, что пришла не надолго, чтобы повидаться съ тобой, Григорій! Да, съ тобой! А потомъ кто-то, должно быть, ты — стукнуль, ия снулся...

Григорій задвинуль чемоданъ подъ софу и сталь ходить рядомъ съ отцомъ и все порывался о чемъ-то заговорить съ нимъ. Старикъ быль съ нимъ ласковъ; опъ быль увѣренъ, что Григорій вчера обнималь его и цѣловаль потому, что наконецъ раскаялся, и съ этимъ раскаяніемъ онъ связывалъ свой сонъ, который казался старику чрезвычайно знаменательнымъ...

— Тебь, можеть быть, надо что-нибудь изъ бълья?—заговориль онъ, вспомнивъ, что засталъ Григорія за раскрытымъ чемо-

даномъ. — У тебя, върно, какая-нибудь нехватка? Ты говори, не стъсняйся. У меня есть лишнее. Покойная мать много нашила мнъ всякой всячины, на всю жизнь мою хватитъ и еще останется... Нечего церемониться...

— Нътъ, не надо...

Григорій еще походиль около отца молча, и наконець тихо сказаль:

— Бѣлья не надо... Вотъ если бы ты далъ мнѣ рублей десять—пятнадцать на дорогу, я былъ бы тебѣ очень благодаренъ. Когда получу,—вышлю тебѣ...

Старикъ вопросительно посмотрълъ на Григорія и ничего не понялъ.

- Сегодня я, отецъ, думаю ѣхать,—пояснилъ Григорій, глядя въ землю.
  - Куда?
- Да покуда въ Самару, а потомъ... посмотрю тамъ.
  - Зачёмъ?!
- Воть тебв и разъ! Самъ усталъ, кашляеть, а самъ опять работу! Ты что-то, Григорій, неладно думаешь... Можеть быть, ты думаешь, что ты... какъ это сказать... что ты будешь мнв мвшать или что при тебв будеть лишній расходъ? Ты это

оставь, Григорій! Зачёмъ предъ отцомъ гордиться?!.. Проживемъ какъ-нибудь...

И опять Григорій почувствоваль какуюто безвыходность и не зналь, какъ ему обълснить свое рѣшеніе уѣхать, чтобы не оскорбить и не огорчить старика, такъ нѣжно и кротко настроеннаго. Опять у Григорія стало тяжело на душѣ, и опять стало трудно дышать, и въ вискахъ застучало громко, какъ молотками по наковальнѣ...

— Я къ тебъ прівду весной, а теперь... Надо вхать. Ты, пожалуйста, не сердись... Что же двлать? Никто не виновать туть, а просто я... не могу...

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE STA

A STREET STADE OF CHOOSE CONTRACTOR CONTRACT

- Ну, что жъ... если не можешь, ничего пе подълаень. Я неволить не стану... да! А самъ говорилъ, что усталъ... Въ родномъ домъ, гдъ ты родился И воспитывался, около отца, въ деревиъ - лучшаго отдыха, Григорій, не найдешь, помяни мое слово: не найдешь... Ну, что же?.. Опять я одинъ останусь... Сергый тоже убдеть скоро-отпускъ у него кончится, и ты увдешь... Ты, можеть быть, разсердился на TO, вчера говорилъ? На отца не стоить диться... Можеть быть, немножко лишияго я вчера сказаль, погорячился...
- Нётъ, не въ томъ, отецъ, дело... Это пустяки... А такъ... Побду...

- Ну, что жъ... Денегь я тебъ дамъ. Мнъ не жалко, когда есть... А когда ты поъдень?
  - Сегодня...
- Какъ это у васъ все вдругъ, Григорій! Ни съ того, ни съ сего... Ужъ погостиль бы, вмѣстѣ съ Сергѣемъ и поѣхали бы...

Когда отецъ упомянулъ о Сергъъ, Григорій отрицательно замоталъ головой и сказаль:

- Намъ съ нимъ не по пути...
- Вотъ тебъ и разъ! До станціи-то поъхали бы вмъстъ, — я про то и говорю...
- Нътъ, отецъ, ужъ все равно... Скоръй лучше...
  - Жалко, жалко... Опять я одинъ... да!..

Весь день старикъ ходиль какой-то задумчивый, сосредоточенный и печальный, и все вываливалось у него изъ рукъ, и все онъ пряхтъль и съ тоской останавливалъ свои глаза на лицъ Григорія, словно все хотъль разгадать что-то, или хорошенько разсмотръть это лицо, въ которомъ было для него столько дорогого, близкаго и вмъстъ съ тъмъ чуждаго и непонятнаго...

Сергъй ходилъ съ холоднымъ презръніемъ, тоже сосредоточенный, держалъ руки въ карманахъ тужурки, узкой, плотно

обтянувшей его сзади, и насвистываль: «Я-цыганскій баронъ»; когда онъ проходилъ залъ до конца, то быстро повертывался на каблукахъ и, позванивая mmoрами, опять шель... Сергъй приписывалъ сборы Григорія въ отъйздъ исключительно своему воздъйствію и тому, что онъ стукнуль кулакомъ по столу и сказалъ: прошу со мной не шутить», но онъ предполагалъ, что братъ не увдетъ, и что онъ ломаеть только комедію, желая, чтобы его упрашивали остаться. «Пусть извинится, больше никакихъ!» думалъ онъ и ждалъ, что вотъ-вотъ Григорій подойдеть и начнетъ извиняться. Но Григорій мецлиль, и Сергъй терялъ терпъніе.

- Куда изволите собираться? спросиль онъ, останавливаясь около брата и выдълывая какія-то «па» ногами.
- Домой!—со вздохомъ отвътилъ Григорій, не обернувшись.
- Такъ-съ... А позвольте узнать, гдѣ у васъ домъ?
- Далеко. Отсюда не видать, спокойно отвътилъ Григорій, кръпко стягивая ремни чемодана.
- Такъ-съ... Однако, будетъ комедію ломать! Ты, въроятно, считаешь себя оскороленнымъ? Я, Григорій, вынужденъ былъ

такъ отвътить... Если ты извинишься, я готовъ взять свои слова назадъ...—началъ Сергъй снисходительнымъ тономъ.—Я, Григорій, поступилъ, какъ...

- Какъ «честный офицеръ», докопчиль Григорій серьезно.
- Въ такомъ случаѣ давай руку и развязывай чемоданъ!—довольно улыбаясь, пробасилъ Сергъй.

Григорій руку подаль, но чемодана развязывать не сталь.

Послъ объда, который прошель томительно, въ какомъ-то напряженномъ молчаніи, отецъ отозваль Григорія въ сторону и сказаль: «Поди-ка ко мнъ въ комнату на два слова».

- Ты, Григорій, можеть быть, дѣйствительно, того... изъ-за ссоры съ Сергѣемъ хочешь уѣхать? Надо плюнуть. Онъ, вѣдь, грубъ и глупъ, ему извинительно. У нихъ у всѣхъ такія замашки: стучать, кричать и свистать... Ты ему извини ужъ! Не стоитъ на него обижаться. Ты поумнѣе и плюнь!
- Я и не обижаюсь… Я не потому... Нътъ! Надо все-таки ъхать…
- То-то!.. Да... Такъ, можетъ быть, ты отложнию до завтра?
- Надо ѣхать, отецъ!.. Все равно ужъ... Скоръе. Сегодня въ ночь.

- Ну, Богъ съ тобой! Какъ хочешь... да! Денегъ тебъ надо. Вогъ, возьми четвертную!
  - Много. Довольно пятнадцати.
- Ну, ну, полно! Что гордиться? Всотаки я тебъ—отецъ, не чужой... Бери, бери! А то вконецъ обидишь меня... Умру—все ваше будетъ.
- Я разсчитываю получить... Вышлю тебъ.
- Нѣтъ, ужъ, пожалуйста, не дѣлай этого! Какіе съ отцомъ счеты?! Зачѣмъ гордиться!..

Васильевна ходила съ заплаканными глазами. Она жалъла Григорія и думала, что его всъ обижають. Она нъсколько разъ принималась на кухнъ плакать и причитать, но, появляясь въ комнатахъ, не подавала виду: она помнила, какъ Сергъй Петровичъ закричалъ «маршъ», когда она пожалъла Григорія Петровичъ—мягкій, сердце у него ласковое и всякій его можетъ обидъть, а заступиться некому,—нътъ родной матери...

Въ семь часовъ у крыльца стояла уже запряженная въ кошевку маленькая лошадка, и когда она, потряхивая головой, разсыпала колокольчики, то и у старика, и у Сергъя, и у Григорія вздрагивало сердце и дълалось грустно, грустно. Они пили вмъстъ послъдній чай.

- Я тебѣ налью еще стаканчикъ?—говориль старикъ, оттягивая минуту разлуки.
  - Пожалуй, налей... Хотя не хочется.
- Пей, пей! На желѣзной дорогѣ надо платить 10 коп. за каждый стаканъ!.. Какъ не стало матери, я самъ началъ разливать чай... Привыкъ!.. А раньше не могъ, все забывалъ, что наливатъ некому, и ждалъ, когда мнѣ нальетъ мать... Ты пей съ хлѣбомъ! Я тебѣ положилъ курицу-то въ узелокъ... Зубовъ у меня мало и все равно я только пососу, а ничего не сдѣлаю съ курицей... А тебѣ въ дорогу пригодится... На желѣзной дорогѣ за эту штуку заплатишь гривенъ шесть...

Григорій черезъ силу паль чай и то и дѣло смотрѣлъ на часы. Но въ комнату заглянулъ Никаноръ и сказалъ:

— A что, господа честные, не опоздаемъ мы на чугунку?

Тогда Григорій всталь и, словно спохватившись, произнесь: «Пора! Пора!»...

— Весной буду ждать, —началь отець, весной у насъ хорошо, благодать! На пруду есть лодка, будешь рыбачить... Ты не разлюбиль это занятіе? - Нътъ.

- Будешь охотиться на утокъ...
- Прошлой весной этихъ самыхъ утокъ было... неожиданно воодушевившись, началъ было говорить Никаноръ, но Сергъй показаль ему на чемоданъ, и Никаноръ не окончилъ фразы: схвативъ чемоданъ, онъ понесъ его въ санки.
- Ну, прощайте, —глухо сказалъ Григорій.
- Надо присъсть передъ дорогой... Такой ужъ обычай... Сядь, Сергъй!

Они посидъли, потомъ разомъ всъ встали, старикъ помолился передъ образомъ, подошелъ къ Григорію, перекрестиль его и долго держалъ въ объятіяхъ и цъловалъ, а когда выпустилъ, то сталъ тяжело отдуваться, приговаривая:

- Ну, Богъ съ тобой! Счастливый путь тебъ!.. Весной, смотри, буду ждать... Пипи, какъ тамъ будешь жить... Деньги если понадобятся,—не гордись...
- Прощай, Гриша! сказаль Сергъй и тоже громко поцъловалъ брата три раза.
- Смотри, не сердись! Я, въдь, горячій,—добавиль онъ.

Всѣ вышли провожать Григорія на крыльцо. Васильевна стояла тутъ же. Когда

всѣ еще разъ простились съ Григоріемъ, она схватила его руку и поцѣловала.

— Прости насъ, окалнныхъ... А самъ молись за мамашу-то! — наставительно прошентала она ему на ухо, и Григорій почувствовалъ, какъ горячая слеза упала ему на руку.

## — Ну, трогай!

Завизжали полозья саней, забулькали бубенчики—и Григорій убхаль.

- На Козьемъ вражкѣ осторожнѣй, Никаноръ! Подъ уздцы спусти! — крикнулъ старикъ упавшимъ голосомъ.
- Спустимъ! отвътилъ Никаноръ, не оборачивалсь, ударилъ люшадку, и кошевка плавно покатилась по снъту, мимо амбаровъ, погребовъ и каретниковъ къ воротамъ...

Сергъй ушель въ комнаты, а отецъ съ Васильевной остались. Васильевна утирала слезы рукавомъ кофты и что-то шептала. А старикъ смотрълъ вслъдъ уплывавшимъ санкамъ, изъ которыхъ торчалъ башлыкъ на головъ Григорія, и моргалъ глазами, и ему было такъ грустно, словно опъ во второй разъ похоронилъ Марью Өсодоровну...

Когда лошадка вывзжала изъ воротъ, Григорій оглянулся. На крыльцѣ еще темнѣла чья-то фитура; Григорій хотѣль помахать рукой, но не успълъ: крыльцо спряталось за какую-то постройку и не зачъмъ было махать

Когда вывхали въ поле, — подулъ въ лицо ръзкій вътеръ. Григорій накрыль лицо наглухо бапількомъ, оставивши только маленькую дырочку для воздуха, и закрыль глаза... Полозья съ желъзными подръзами визжали по снъгу, бубенчики сыпались по дорогъ непрерывнымъ дождемъ мелодичныхъ колокольчиковъ и, прислушиваясь къ этой своеобразной мелодіи, Григорій начиналь мало-по-малу погружаться въ нирвану.

Ему казалось, что онъ телеть давнодавно, что онъ никогда не останавливался и никогда не остановится, а будеть безъ конца все куда-то техать... 



## ПРОТИВНИКИ.

Разсказъ.

Когда Рычковъ, поднявшись до первой лістниць, ощупываль площадки на темнотъ перила, чтобы сдълать поворотъ влъво, — онъ услыхалъ впереди чысто неувърешые подумаль: «Къ шаги и кто-то лівзеть». Признаться, при этой мысли Рычкову стало немного досадио: онъ разсчитывалъ провести вечеръ только едвоемъ съ Върой Семеновной, потолковать, почитать и хорошенько «ВЫЯСНИТЬ» себъ направленіе этой дівушки, а опять не удается. «Віроятно, опять клинъ» — мельки уло въ сознані п Рычкова, — «повадился...» Желая поскорве узнать, кто лізеть, онь откашлянуль и произнесь:

- Какъ-бы не столкнуться! Темно!
- Свътъ и во тьмъ свътить! отвътиль грубоватый голосъ, и Рычковъ узналь въ немъ дъйствительно Паклина.
- Ахъ, это вы!.. Сощлись...—довольно неопредъленно сказаль Рычковъ и добавиль вполголоса:

— Не знаю, дома ли… Ее трудно поймать...

Рычковъ сказалъ неправду: еще войдя во дворъ, онъ поднялъ кверху голову и освъдомился, есть ли огонекъ въ окнъ Въры Семеновны, — огонекъ свътилъ, стало быть, — она была дома. Зачъмъ совралъ Рычковъ, — онъ и самъ не давалъ себъ отчета; просто совралось. Этимъ выразилась, въроятно, досада, что ему опять не удастся потолковать о дълъ и «выяснить»...

— Дома! — увъренно отвътилъ Паклинъ,—она меня звала.

- Изъ этого ничего не слъдуетъ! грубо пробунчалъ Рычковъ. Въ это время оба студента вощли на вторую площадку лъстницы. Здъсь было окно. Въ окно ярко свътила луна... Когда Паклинъ вошелъ въ полосу луннаго свъта, Рычковъ увидълъ, что тотъ несетъ съ собой какія-то книги... Это тоже показалось ему почему-то непріятнымъ, котя и самъ онъ тоже держалъ подъ мышкою книги. Они поздоровались и молча двинулись по темной лъстницъ дальше. Но вотъ дальше лъзть было уже некуда. Паклинъ уперся въ стъну и сталъ шарить рукою, отыскивая скобку двери...
- Постойте-ка... Чего вы, въдь воть!— сказаль Рычковъ, отстраняя руку Паклина,

и раствориль дверь. Они вошли на «антресоли». Ихъ встрътила старушка довольно непривътливо:

- Къ Върочкъ, что-ли? Спить опа... нътъ ея дома...
- Дома! дома! прозвучаль издали нѣжный мелодичный голосокъ, —и изъ растворившейся двери выскочила высокая, стройная дѣвушка, въ небрежно накинутой на плечи шали, съ плотно заплетенной косою. Не поздоровавшись ещо съ гостями, Вѣрочка накинулась на старушку:
- Что это вы, мамаша!.. Съ чего вы взяли?.. Пожалуйте...
- А кто тебя знаеть... Я думала,—тебя нъть.

Молодежь стала здороваться и снимать пальто, а старушка заворчала себѣ подь носъ и скрылась...

— Вы, пожалуйста, другой разъ прямо идите ко мнъ, а то...

Но въ этотъ моменть откуда-то неожиданно появилась опять старушка и серцито перебила дъвушку:

— Какъ же прямо ломиться въ комнату!.. Чай, надо сперва спросить?.. Да другой разъ ты неодъвши еще... Прямо!.. Только вороны летають...

- Ну ладно, ладно... Оставьте, ма-маша!..
  - Прямо!.. Безстыдница какая...
  - Ну ладно!.. Пойдемте, господа!

Съ этими словами дъвущка пошла въ свою комнату. За нею двинулись и студенты.

Рычковъ подсёлъ къ столу съ одпого конца и положилъ книги, Паклинъ — съ другого конца. Оба были смущены неожиданнымъ пріемомъ старушки и потому нъкоторое время не находили, съ чего начать разговоръ.

- Я собственно на минутку забѣжалъ къ вамъ,—началъ Рычковъ,—принесъ вамъ книги...
  - Ахъ, спасибо! Маркса?
- Да... Усидите, такъ сразу на 90 градусовъ поумнъете... Здъсь вся суть. Этообязательно нужно всякому прочесть...

Рычковъ былъ спеціалистомъ по политической экономіи и полагалъ, что кто не «усидълъ» Маркса—круглый певъжда; къ такимъ господамъ онъ относился въ лучшемъ случав съ покровительственной снисходительностью, въ минуты же ръзкой откровенности прямо пренебрегалъ ихъ мивніемъ и особою...

«Ну, братецъ, ты еще того... слабовать!

Почитай-ка Маркса, авось, пройдурь детъ»... замъчань онь собесъднику въ такія минуты. А «дурью» онъ называлъ все, не относящееся къ области политико-экономическихъ явленій. «Маркса» JTHO ствительно, «усидёль» и зналь букero вально по-странично; въ разговорахъ Heизбъжно обращался къ нему и сыпалъ цитатами. Какимъ-то пепонятнымъ образомъ Рычковъ умълъ всегда приплести Маркса... Говорять, напримъръ, что есть урокъ за пять рублей въ мёсяць, совётуются, кому его передать, кто болье пуждается и т. д. Рычковъ все молчить, а потомъ задумчиво замътитъ:

— Два часа... За пять рублей... Дешевенько... Воть онь, трудь и капиталь, спрось и предложеніе!..

А затымь уже приступаеть къ изложенію законовь колебанія заработной платы.

Насколько свъдущъ былъ Рычковъ въ области политико-экономической, настолько же несвъдущъ въ другихъ областяхъ знанія. Впрочемъ, онъ этого не замъчалъ и не чувствовалъ. Политическая экономія, вообще, и Марксъ—въ частности,—казались ему центромъ всей человъческой жизни, откровеніемъ, раскрывающимъ широкіе горизонты на все человъчество, на весь міръ...

Поэтому онъ не признаваль, напримъръ, психологіи, называя ее «болтовней празднаго ума», не признаваль философіи, называя ее почему-то «акциденціею», что же касается изящной литературы, — то онъ ее прямо ругаль «дребеденью», которой запимаются только тъ, кому дълать нечего.

Закуривъ папироску, Рычковъ сосредоточенно устремился въ полъ взорами. Паклинъ — живой, подвижной юноша, не умѣющій болѣе пяти минутъ просидѣть на одномъ мѣстѣ, вскочилъ и сталъ ходить по комнатѣ. Вѣра вышла за дверь, — и было слышно, какъ она вполголоса убѣждала старушку поставить для гостей самоваръ, а старушка ворчала.

— Ну, такъ я сама, сама!..—доносился сердитый инопоть дъвушки.

- Сколько ихъ перебываетъ... всѣмъ самоваръ ставить...—слышался ворчливый голосъ старушки. Но вотъ дверь сердито хлопнула, ее затворила за собой появив-шаяся Въра.
- Я вамъ тоже притащилъ, встрътилъ ее Паклинъ и, подойдя къ столу, переложилъ принесенныя имъ книги съ одного мъста на другое. Рычковъ поднялъ взоры, протянулъ руку и взялъ одну изъ принесенныхъ Паклинымъ книгъ.

- Шекспиръ... такъ!... пробунчалъ онъ полунасмъщливо, полуснисходительно, перелисталъ нъсколько страницъ, потомъ разомъ захлопнулъ переплетъ и, небрежно бросивъ Шекспира опять на столъ, произнесъ:
  - Одна эмоція!..
  - Что такое?-спросила дъвушка.
- Эмоціями, сударыня, пробавляетесь... Дѣвушка, видимо, пе поняла,—поэтому Рычковъ объясниль:
- Неопредъленное движеніе души, не прибавляющее ни капельки ни ума, ни знаній... Пригодно для успъпнато пищеваренія...

Но туть вступился въ разговоръ Паклинъ.

- То есть, какъ же это? Шекспиръ, поващему, служить только для пищеваренія? (Паклинъ почувствоваль обиду, ибо слова Рычкова касались косвенно его).
  - А вы какъ полагали?
- И Шиллеръ, Гёте, и Байронъ—всѣ для пищеваренія?—сверкая глазами, спрашиваль Паклинъ, глядя то на Рычкова, то на дѣвушку, чувствовавшую себя крайне затруднительно.
- Одна эмоція!—рѣзаль Рычковъ, глубоко затягиваясь дымомъ папиросы...

- Да вы читали-ли? иронически спросилъ Паклинъ.
- Пробоваль... Только бросиль, ибо ничего изъ вашего Шекспира не вынесъ... Одна эмоція!.. Впрочемъ, у меня и эмоцій не было...
- Ничего не вынесли... Гм... Ну, ужь не Шекспиръ въ этомъ виноватъ... Ха-ха-ха!.. Ничего не вынесли!.. Жаль, жаль... Васъ жаль, а не Шекспира...
  - Намъ не приходится, батюшка, Ромеами да Джульетами пробавляться... Это отъ нечего дълать...
    - Какая чушь! Какая чушь!

TO THE PARTICION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTICION OF THE P

- Да будетъ, господа! робко и сконфуженно произнесла дъвушка, робко вмъшавшись въ споръ.
- Нътъ, позвольте, Въра Семеновна! Тутъ дъло принципіальное! возразилъ Паклинъ и, обратившись къ противнику, спросилъ:
  - На кой чорть вы притацили Маркса?
- A я васъ спрошу: на кой чорть вы притащили Шекспира?
- Зачъмъ Въръ Семеновиъ теперь Марксъ? Она ничего не пойметъ въ немъ. Да и вообще—на кой чортъ ей ударяться въ такую спеціализацію? Марксъ!..
  - Да вы читали-ли Маркса-то?

- Конечно, читалъ... Но Въръ Семеновнъ теперь нужно еще общее образованіе, которато въ гимназіи она не получила... Передъ ней широкая область естествознанія, исторіи, наконецъ знакомство съ изящной литературой, родной и западной... А вы лъзете съ Марксомъ!
  - На эмоціяхъ не далеко убдешь...
- Будеть, господа... Все я буду читать... и Маркса и Шекспира...—вставила дъвушка, не зная, какъ оборвать этотъ споръ, принимавшій черезчуръ ръзкій характеръ...

Споръ этотъ цавно встревожиль старушку, и она уже нъсколько разъ припадала къ двери, прислушивалась и заглядывала въ щель-

- Какъ сойдутся, такъ и ругаются, шептала она недовольно, и сильно побалвалась, какъ бы еще не раздрались. Прислушавшись теперь къ крику спорящихъ, она услыхала громкую фразу Рычкова:
- Что же, по вашему мнѣнію, для образованія не нужна политическая экономія?
- Кто вамъ говорить, что не нужна!? Но для образованнаго человъка достаточно прочитать какой-пибудь общій курсь...
  - Воть, воть!—прошентала старушка,—

конечно, надо курсы кончить... Върно говорить

И насколько Паклинъ показался ей умнымъ и дёльнымъ человекомъ, настолько Рычковъ—бездёльникомъ...

Старушкъ казалось теперь, что непремънно Рычковъ во всемъ виноватъ. Върочка стала не слушаться, своевольничать; студенты безперечь шляются, — спокою не даютъ: только ляжещь уснуть—ботъ! ботъ! ботъ!. Лъзутъ—и прямо въ комнату къ дъвушкъ ломятся, въ калошахъ и въ шапкахъ... На полу насорятъ, наплюютъ и папиросъ набросаютъ,—мести не успъваещъ... А станещь ей говорить—окрысится...

Въ это время въ сѣняхъ послышался топотъ многочисленныхъ ногъ, легкій говоръ и смѣхъ.

- Никакъ еще лѣзутъ! Господи! Вотъ наказаніе Божіе!.. И, дѣйствительно, опасенія старушки были основательны: дверь широко распахнулась и полѣзли... Одинъ, другой, третій... Вошли три студента и одна дѣвушка, веселая, звонко смѣющаяся, о чемъ-то говорившая...
- Въра дома?—спросила эта дъвуш-
- Дома,—сердито буркнула старушка, искоса посмотръвъ на вошедшую компанію.

- Идемъ, господа!—сказала дѣвушка. И они двинулись, не раздѣваясь, въ комнату Вѣры Семеновны.
- Калоши-то, калоши-то хоть скинули-бы!—замътила недовольно старушка, мыто у насъ сегодня только!

Но всѣ уже пролѣзли къ Вѣрочкѣ, а задній сказаль:

— Ничего, бабушка... Все равпо!—махпулъ рукой и тоже скрылся за дверью.

Въ комнатъ Въры Семеновны поднялся страшный гвалть. Пришедшіе присоединились къ принципіальному спору,—и всъ кричали немилосерднымъ образомъ. Подъ потолкомъ повисли облака табачнаго дыма; на поль полетъли окурки папиросъ.

— «Бабушка»... Какая я тебъ бабушка...—ворчала старушка, подтирая половою щеткою грязные слъды на мытомъ полу.

Шумъ усиливался. Горячились все больше. Старушка долго крѣпилась, но, наконецъ, не выдержала:

— Надо, господа, и честь знать!—сказала она, войдя въ комнату Въры,—чего вы ругаетесь: не на толчкъ, въдь!.. На-ко, ка-кой содомъ подняли!.. Ни стыда, ни совъ-

сти, прссти Господи!.. Пикакого спокою итель...

Отарушка сердито захлопнула дверь. Въ комнатъ сразу все стихло. Потомъ одинъ за другимъ полъзли оттуда гости и, молча проходя черезъ зальце, скрывались за выходной дверью...



## МИРАЖЪ.

## Разсказъ.

...— Жизнь похожа па календарь. Листокъ за листкомъ отрываются года нашей жизни, а тамъ—послъдній листокъ—и кончено!.. Когда я подхожу къ календарю, чтобы оторвать канувшій въ въчность день, мнъ думается: «воть и еще 1 день приблизиль меня къ могилъ», и мнъ становится какъ-то жутко, захочется куда-то торопиться, спъщить сдълать что-то и становится страшно, что я такъ и не успъю... А что?—въ сущности я и сама не знаю, куда спъщить, зачъмъ спъщить и что надо сдълать...

Въра Аполлоновна посмотръла въ окно, помолчала немного, и продолжала:

— Помните: у Тургенева, въ его «Senilia», ссть маленькая вещица, озаглавленная «Завтра»? Все ждень этого «завтра». Вспоминаень прожитый день Что новаго, особеннаго произошло за этотъ день? Ничего, ровно ничего... Случилось все то, что случалось сто разъ раньше и что случится сто разъ послъ. Поэтому, иногда бываетъ

даже пріятно поскорѣй оборвать пять месть листочковъ календаря своей жизни, лишь бы поскорѣе дожить до красной цифры ожидаемаго праздника... Скучно, Николай Петровичъ. Скучно, голубчикъ, жить!..

- Тургеневъ писаль свои «Senilia» на склонъ дней, а вы, Въра Аполлоновна...
- Мив только тридцать два года, но, кажется, что я прожида цёлую вёчность... И ничего интереснаго впереди уже не детъ... Все было, все случалось... Право! Иногда прислушиваешься къ CBOCMV строенію, —и въ головѣ встаеть смутное воспоминаніе, скор'ве ощущеніе повторяемости... Не знаешь, когда, гдъ, при какихъ обстоятельствахъ, но всёми силами чувствуещь, что все это уже случалось, что все это когда-то уже было именно такъ, какъ совершается въ данную минуту. кой-нибудь ландшафть, клочекъ голубого неба, косой лучъ заходящаго солнца или ясная лунная ночь, звонкій лай собаки, голось, —и все это иногда сольется въ такой комбинаціи, какая хранилась гдів-то подъ спудомъ въ намяти, и только всилыла теперь на поверхность... Воть и сейчась... Мн сидимъ съ вами въ этой комнать другъ противъ друга, а я чувствую, что когда-то,

давно, очень давно, мы уже сиділлі съ вами такъ же, какъ сидимъ теперь, и такъ же печально заглядывало къ намъ въ окно заходящее солнышко, и было такъ же грустно... и миъ такъ же хотълось плакать...

- Да, все это было,—задумчиво произнесь Николай Петровичь, кудрявая голова котораго обвилась клубами табачнаго дыма.—Я даже могу напомнить, какъ и когда это было, Въра Аполлоновна...
- Давно это было... Я увзжаль въ Москву, въ университеть, а вы еще носили коричневое платьице гимназистки... быль хорошій августовскій вечерь... Смеркалось Шарманка играла тогда на улицъ «Милыя горы», и у меня такъ щемило сердце отъ предстоящей разлуки съ... гимназисткой Вфрочкой, что я готовъ расплакаться... Ваше личико было тоже печально... Быль моменть, когда насъ оставили вдвоемъ, и мы сидъли, какъ и теперь, другъ передъ другомъ, и не знали, что сказать на прощанье...
  - Ну, дальше! Потомъ?
- Потомъ?.. Потомъ—ничего... Потомъ нолетъли года, мы состарились... Я женился, обзавелся цълымъ разсадникомъ моло-

дого покольнія, а вы сдылались артисткой и стали пожинать лавры... Теперь намъ обоимъ скучно... Воть и все!..

Николай Петровичъ выпустилъ подъ усовъ облачко табачнаго дыма. смолкъ. И оба они молчали, и въ этомъ молчаніи чувствовалось что-то оборванное, недоговоренное, что каждый изъ нихъ понималь и договариваль въ своемъ сердцв... Изъ-подъ груды обломковъ, сора искол И прожитой жизни вставали стертыя годами воспоминанія юности, такія яркія, живыя, трепешущія, и рядомъ съ ними поднималось со дна души сожальніе о чемъ-то несбывшемся, раскаяніе въ какой-то правимой оппибкъ на всю жизнь... Николай Петровичъ смотрѣлъ на Въру Аполлоновну неподвижно и пристально; смотръль на ея красивую голову, подпертую кистью тонкой руки, и гив-то тамъ, на самомъ луши, шевелилась тынь былого, --позабытаго или затеряннаго на длинномъ жизни-чувства... А Въра Аподлоновна смотръла вдаль съ грустью, похожей грусть хорошаго осенняго дня, когда свътъ солнышка напоминаеть улыбку сквозь слезы, а кружащіеся въ воздухв желтые листья деревьевь навъвають на лушу тихое раздумье о недолговъчности человъка

со всёми его радостями и печалями, и впушають кроткую безмолвную покорность ничтожному жребію.

Вечеръ все ниже опускался падъ городомъ. Потухалъ розоватый отблескъ вечерней зари. Скользили тъни, сгущались сумерки. Стихалъ шумъ городской жизни, и въ этомъ постепенномъ затихании и въ сгущающихся сумеркахъ было что-то похожее на приближение смерти...

- Было это такъ давно, а теперь встаеть въ памяти, какъ вчерашній день... Какъ быстро мчится время!-задумчиво проговорилъ Николай Петровичъ, и по лицу скользнули тени и сделали это лицо сумрачнымъ и печальнымъ. Николай Петровичь думаль о томъ, что двъ трети жизни прожиты, убъжали: что остатокъ плыветь безостановочно и скоро доплыветь до конца... На заръ юности дорога казалась безконечно-длинной, а теперь ее можно окинуть взоромъ отъ начала до конца... И все словно уменьшилось, сократилось, и весь міръ сталъ похожъ на обнесенный высокими ствиами тюремный дворъ, гдъ человъкъ-узникъ гуляетъ на свободъ...
- Надовло жить,—тихо прозвучаль голосъ Въры Аполлоновны.—Нъть способности жить, нътъ способности любить и на-

дъяться... Пусто, скучно и холодно... И теперь, когда я окидываю взоромъ весь путь моей безалаберной жизни, знаете, о чемъ я думаю? Я думаю о томъ, что если я когданибудь жила и любила, такъ только въ то далекое время, когда я была Върочкой и носила фартучки, а вы были Колей въ ностуденческомъ мундиръ... Однимъ вомъ маякомъ въ океанъ впечатлъній и воспоминаній моей пустой мишурной жизни-рисуется мнъ воспоминание о нашей ребяческой привязанности, о нашемъ дътскомъ романъ съ его платоническимъ благоговъніемъ, съ намеками на ревпость, на кокетство: съ его грезами, безразсудно бъжавпими за предълы всего возможнаго...

— A потомъ, Въра Аполлоновна, развъ не было ничего, что хочется вспомнить, воскресить?.. - Потомъ? Потомъ были романы, сколько романовъ, но все это-не то!.. Или жалкія повторенія, игра самолюбія, тщеславія, чувственности, или... или просто желаніе им'єть романь и сознаніе, что дъйствующее лицо ВЪ романв... этомъ Ложь, ложь безъ конца, безъ проблеска искренности, непосредственности чувства... Гадко!.. Ахъ, какъ я хотвла бы пооыть теперь прежней Вфрочкой, посидъть на рукажь у мамы, обвить ел шею своими ручонками и чувствовать себя такъ хорошо и спокойно подъ защитой материнской ласки!.. Умерла мама... Давно умерла... Я—одна...

И опять наступило молчаніе. Съ улици черезъ окно долетали глухіе звуки піанино: играли гдъ-то старинный грустный вальсъ.

— А вы, Николай Петровичь, счастливы?—неожиданно спросила Вѣра Аполлоновна, и тотъ смутился подъ ея пристальнымъ взглядомъ.

Счастливъ ди онъ? Онъ и самъ этого не знаеть. Нѣть въ душѣ трепета, который дълаетъ счастье ощутительнымъ, ждаеть желаніе разсказать всемь о своемь счастіи... Быль этоть трепеть, когда Николай Петровичь узналь, что опъ любимъ теперешней женой его, Наташей; этоть трепеть, когда онъ стоялъ рядомъ съ ней въ саду и не находилъ словъ, передать ей всю силу своей любви; когда сердце разрывалось отъ восторговъ раздъленной любви, потомъ, --когда свътъ божій огласился слабенькимъ крикомъ безпомощнаго новаго существа, перваго сына; когда больная, улыбающаяся сквозь слезы Наташа, дълилась съ нимъ новой радостью, радостью материнства. Былъ и еще этотъ трепеть, но повторялся онъ все р'вже и все

слабъе. Привыкаешь къ созцанію, что любимъ, свыкаешься съ этимъ до того, что перестаешь цънить—и все входитъ въ обыденныя рамки, и сердце перестаетъ трепетать и бьется ровно, спокойно, какъ стучатъ карманные часы...

- Говорять, Въра Аполлоновна, что, когда счастье входить въ дверь нашей хижины, оно такъ сгибается, что мы перестаемъ его замъчать...
- И начипаемъ снова его видъть, когда оно очутится опять за дверью?
- Увы!—это правда. Проклятый призракъ, который дразнитъ и манитъ издали, какъ свътящаяся въ лъсу гнилушка заблудившагося путника!.. И все это знаешь и все-таки тянешься къ нему объими руками!..
  - Васъ очень любить жена?
- Гм... Привыкла!.. Заботы, мелочи жизни, мелкія ссоры, все это проза, страшная проза, передъ которой отступаетъ порывъ, которая развънчиваетъ поэзію любви и поэзію счастья... Остаются два существа, помогающія другъ другу тащить бремя жизни, устающія за день, какъ чернорабочіе... А чернорабочимъ, Въра Аполлоновна, не приходить даже въ голову вопросъ о томъ, счастливы ли они?!. Да, Въ-

ра Аполлоновна: «Только утро любви хорощо, хороши только первыя робкія ръчи»...

- «Хороши только первыя робкія ръчи»,—тихо повторила Въра Аполлоновна и встряхнула головой, словно отмахиваясь отъ докучливой думы. Такъ же она встряхивала своей головой, когда была подросткомъ.
- Отчего вы такъ пристально смотрите на меня? Вы вспоминаете Върочку и удивляетесь, какъ это вы могли боготворить меня въ далекіе дни юности? Теперь яразвънчанный кумиръ? Я не нравлюсь больше вамъ?.. Да?

Николай Петровичь потупился. Опъ снова почувствоваль, какъ въ его душу повъяло чъмъ-то знакомымъ, близкимъ и дорогимъ. Онъ взялъ руку Въры Аполлоновны и заглянулъ вглубь ея глазъ, и сердце его стало замирать, какъ тогда, когда онъ былъ на первомъ курсъ... Молча онъ коснулся губами руки Въры Аполлоновны и вспыхнулъ вдругъ, какъ юноша...

— Въ память далекихъ воспоминаній?—спросила Въра Аполлоновна съ печальной улыбкой, и ея голосъ, и скользнувшая по лицу улыбка очень напомнили Николаю Петровичу дъвочку въ коричневомъ платъицъ, съ косой и съ бархоткой на головѣ, и опять сердце его какъ-то рванулось къ прошлому, отошедшему въ страшную и непонятную вѣчность...

- Исполнилось, Въра Аполлоновна, то, о чемъ я робко мечталъ, будучи гимназистомъ!..
  - Воть какъ!..
- Сколько плановь и заговоровь лельять я когда-то въ своемъ робкомъ гимназическомъ сердцъ около этого поцълуя! Помню: я искалъ случая на Пасхъ выполнить это злодъяніе, но мнъ не удалось... Вы сказали, что не христосуетесь съ мужчинами!.. Жестокая вы были!.. И воть, черезъ 15—17 лътъ, исполнилась мечта!.. Робость исчезла... А жаль! Какая хорошая это была робость! Въдь въ ней олицетворялась вся сила безпредъльнаго благоговънія!..
- А теперь нѣтъ этой робости, и никто не вернетъ ея намъ съ вами, отвѣтила Вѣра Аполлоновна, поднимаясь съ кресла, п, нагнувшись, поцѣловала Николая Петровича и отошла къ другому окну.
- Въ память далекихъ воспоминаній!— прошентала она.

Въ сумеркахъ мелькнулъ въ рукахъ ея бълый платокъ... Быть можетъ, Въра Аполлоновна отерла имъ слезку, которая скатилась съ ръсницы на щеку...

— Върочка, Върочка...

Легкій стукъ въ дверь заставилъ очнуться обоихъ

- Можно?
- Входите!—грустно отвътила Въра Аполлоновна, оправляя мягкимъ прикоснореніемъ руки узелъ каштановыхъ волосъ на головъ.
- Это—я!.. Что подёлываеть наша звёздочка? Вашу благовонную ручку!—саговориль вкатившійся въ номеръ толстякъ и, громко чмокнувъ губами руку Вёры Аполлоновны, добавиль:

## — Ароматная женщина!

И весело засмѣялся мелкимъ и частымъ смъщкомъ и, казалось, что вся комната сразу измѣнила свою атмосферу; изъ грустной, меланхолично-задумчивой она стала легкомысленной, безпечной и шаловливой. Столько игривости и легкомыслія было въ самой фигуръ этого господина, и въ его пиджачной пары, клытчатой, кургузой, и въ болтающихся на кругломъ брюшкъ брелокахъ на часовой цёпочкі, и въ хрипловатомъ, изобличавшемъ «птицу небесную», о которой никто, кром'в Бога, не заботится, и въ жестахъ этого господина, быстрыхь, разухабистыхь, и въ походкъ его, подплясывающей и смёшной!

- Познакомьтесь, господа! Это Громилинъ, нашъ комикъ-буффъ!
  - Колосовъ, присяжный пов'вренный...
- По бракоразводнымъ-съ?—съ улыбкой перебилъ Громилинъ

Николай Петровичь промолчаль, и оба они остались недовольны другь другомъ: Николай Петровичъ быль настроенъ грустно,—Громилинъ, по обыкновению, очень весело.

- Что же это вы, милые люди, въ попосиживаете? Нѣшто темочкахъ-то жмурки играли?-сказалъ комикъ и подмигнулъ глазомъ. И вышло это такъ пошло и оскорбительно!.. Николаю Петровичу стало обидно и за свое настроеніе, и за женщину, только пробудившую OTP немъ твнь первой чистой любви далекой кности, обвъянной призрачныхъ чарами пугливыхъ грезъ поэзіи...
- Громилинъ! мнѣ скучно, невыносимо скучно!.. И... не хочется васъ видѣть! громко произнесла Вѣра Аполлоновна, опуская руки и голову.
- Можеть быть, я здёсь, господа, лишній, и потому сдёлалось скучно? Вы скажите прямо: я ретируюсь, благородно ретируюсь... Я альтруисть, совершенный альтруисть! Уйти?

- Нъть, не то... Не мъщаете, а просто я... не знаю, какъ сказать... Скучно миъ и хочется грустить... и хорошо такъ грустить... А вы ломаетесь!..
- Исторія! Хочется грустить!?. Не позволю! О чемъ грустить?.. Наплевать, примадонночка! Вотъ придеть завтра, надѣнете юбочку Периколлы, запоете «какой осѣдъ намъ подавали, какимъ виномъ насъ угощали!»

Громилинъ проп'ёль этотъ куплетъ фальцетомъ съ жестами, съ мимикой, и добавиль:

— И будеть, мамочка, весело! Послъ спектакля будемъ ужинать... Я буду губеркаторомъ!.. И будемъ пить вино... Върно, Николай Петровичъ?

Николай Петровичь не отв'втиль. Онъ куриль и смотр'влъ въ окно...

— Върно опъ, разбойникъ этакій, довель нашу примадонночку до такого индифферентнаго отношенія къ жизни!—сказаль Громилинъ по адресу самоуглубленнаго Николая Петровича, и запълъ фальцетомъ:

А-а-бба-жаю, люблю-ю-ю, М-мой равбойникъ, теббя!...

Но не доп'влъ и, оборвавъ куплетъ, поправилъ свой цв'втной галстухъ и спросияъ хриповатымъ басомъ:

- Есть у вась, мамочка, деньги?
- Сколько вамъ? безучастно спросила Въра Аполлоновна.
- Только пять рубликовъ… Дайте, ароматная моя, будьте спокойны: ей-Богу, не отдамъ!..

Въра Аполлоновна выбросила на столъ маленькую золотую монету, а Громилинъ подобралъ ее и запълъ:

На землъ весь родъ людской Чтитъ одинъ кумиръ священный...

Потомъ онъ тронулъ кнопку электрическаго звонка и отдалъ эту золотую монетку коридорному. А потомъ коридорный принесъ коньякъ и лимонадъ и зажегъ огонь.

— Раскупори, братецъ! Порядковъ жизпи не знаешь!—крикнулъ Громилинъ, и его приказаніе было сдѣлано такъ строго и внушительно, что коридорный мелкой рысцой побѣжалъ за штопоромъ.

Хлопнула пробка и запишъть лимонадъ въ стаканахъ. Въра Аполюновна взяла стакань и стала пить быстро, съ жадностью, а Николай Петровичъ смотрълъ на нее и ему было жалко Въру Аполлоновну и противно смотръть на Громилина, который пилъ, оттопыривъ свои пухлыя щеки и широко разставивъ ноги въ клътчатыхъ брю-

кахъ, а когда выпилъ, то сталъ отдуваться етъ ударявшихъ въ носъ газовъ:

- Пфъ! Рикошетъ!.. Пфъ! Отлично!.. Еще?! Пфъ! Превосходно!
- A вы, господинъ пессимистъ?—обратился онъ къ Николаю Петровичу.

Тотъ молча принялъ поданный ему Вѣрой Аполлоновной стаканъ и сталъ пить медленными глотками.

- Примадонночка! Еще стаканчикъ! Вуле-ву, звъздочка? Уй, милочка?
  - Налейте.

Что мев жить и тужить Одино-кой....

—запъль хриплымъ басомъ Громилинъ, а Въра Аполлоновна вдругъ расхохоталась звонко и весело: 

- Вы, Громилинъ, похожи на шекспировскаго Фальстафа! Ей-Богу, похожи!.. Ха-ха-ха!!.
- Наконецъ-то выглянуло солнышко изъ-за тучъ!.. Вуле-ву, звъздочка?

Въра Аполлоновна пила. Николай Петровичъ сидълъ неподвижно въ креслъ и смотрълъ, какъ разгорался на лицъ Въры Аполлоновны румянецъ, какъ начинали искриться ея умные, печальные глаза огоньками, и слушалъ, какъ она смъллась все громче и задорнъе, и начинала шутить и говоритъ «глупости»...

— Николай Петровичъ! Сядьте зд'всь, рядомъ! Ну!.. Ближе! еще ближе! Развъвы боитесь меня?

Они сидѣли рядомъ, близко, и ея плечо касалось порою его груди, и черные глаза обращались къ нему вызывающе, и аромать духовъ и женскаго тѣла раздражалъ его обоняніе...

И опять они вспоминали канувшую въ въчность юность, свои робкія встръчи и робкія ръчи; Николай Петровичь говориль, что семнадцать лъть тому назадь онъ робко мечталь любить Върочку въчно и никогда съ нею не разставаться и все строиль проекты, какъ сказать ей о своихъ страданіяхъ и какъ попросить ее о счастіи на всю жизнь...

— На всю жизнь... Это долгонько,—шутиль Громилинь. Въра Аполлоновна шла навстръчу его шуткамъ и безпечно смъялась, обжигая Николая Петровича своими взглядами, странными, затуманенными.

Было очень позтно, когда Громилинъ сказалъ: «милые гости, не надовли ли вамъ хозяева?» и надвлъ фуражку. Вместв съ нимъ поднялся и Николай Петровичъ и сталъ прощаться съ Върой Аполлоновной. Она кръпко сжала ему руку и посмотръла прямо ему въ глаза вопроситель-

но, странно какъ-то... И отъ этого взгляда у Николая Петровича вздрогнуло сердце и застучало въ вискахъ. На порогъ, когда Громилинъ вышелъ за дверь, въ коридоръ, Въра Аполлоновна задержала въ своей горячей рукъ руку Николая Петровича и, вперивъ въ него умоляющій взглядъ, чуть слышно сказала:

- Вернитесь... Върочка будеть васъ ждать...
- Да,—прошенталь онъ, и вышель изъ помера съ трепетомъ во всемъ тълъ и неровной походкой пошелъ вдоль коридора, а когда дошелъ до площадки, то остановился, чтобы глубже вздохнуть грудью и успокоить сердце, бившее сладкую тревогу...
- Вы куда?—спросиль его Громилинъ, когда они оба очутились на улицъ.
- Не знаю...—отвътилъ Николай Петровичъ и, махнувъ рукой, пошелъ въ сторону...

Свътало. Слабый отблескъ наступающаго съренькаго дня несмъло заглядывалъ чрезъ полуприкрытыя тяжелыми портьерами окна и дълалъ комнату какой-то будничной и грустной. На столъ поднимались пустыя кургузыя бутылки изъ-подъ лимонада; на полу валялись пробки. На тъхъ креслахъ, гдъ они вчера вечеромъ сидъли вдвоемъ съ Върой Аполлоновной и грусти-

ли, небрежно валялось женское платье. Около кресла стояль одинь женскій башмакъ съ пуговицами, а другой лежалъ рядомъ...

Все кончилось. Улетели грезы и осталась грязь жизни.

Онъ видълъ утомленную женщину, небрежно раскинувшуюся, полуоткры-СЪ тымъ ртомъ и съ мелкими морщинами около крвико сомкнутыхъ, глубоко упавшихъ въ орбиты глазъ... И ему не върилось, чтобы эта женщина могла быть Вфрочкой, той легкой, граціозной дівочкой, съ русой косою и съ бархоткой на головъ, которую онъ боготвориль во дни юности; тоть черноглазый ребенокъ, который впервые разбудилъ его маленькое сердце и заставиль его сладко трепетать и бить тревогу...

И все это было такъ невъроятно, что зарождалось сомивніе: полно, да была ли когда-нибудь эта Върочка? Не миражъ это старъющаго человъка, которому хочется за что-нибудь ухватиться, скользя по дорожкв къ смерти?..

Онь стояль, держась рукою за голову, у порога дверей, и ему было такъ грустно. словно онъ потеряль безъ возврата самое дорогое въ жизни.

80



## Чортова жалость.

Сказка.

Закрутиль, задымиль бурань въ снъжномъ полѣ и занесъ мягкими сугробами всѣ пути-дороги. Не видать свѣта Божьяго въ крутящемся вихрѣ снѣга; и сверху, снизу летять сивжныя хлопья: нътъ ни неба, ни земли, нътъ живой души и жилья человъческаго. А дъло клонилось къ вечеру. Шелъ въ это время изъ деревни въ городъ мужикъ Спирька-три елки несъ продавать барскимъ дътямъ на утъщение и потъху, а себъ съ семействомъ на пропитаніе. Голодуха по землъ ходила, ВЪ деревнъ вмъсто хлъба мякину вли, а у Спирьки и мякины не было. Вотъ онъ И придумалъ барскихъ дътей потъпить: срубилъ казенномъ лъсу три елки и потащилъ въ городъ. Въ лъсу грошъ цъна ей, елкъ, а въ городъ на базаръ за нее три цѣлковыхъ дадуть... Торопится Спирька думаетъ: и «можеть красненькую заработаю, — пуда три муки куплю, чаю да сахару, да ребятишкамъ баранокъ, да себъ махорки,

бабѣ... Не знаю, чего бабѣ купить? > А того и не замѣчаетъ Спирька, что давно идетъ безъ пути, безъ дороги... Идетъ часъ, идетъ другой. Пора бы огнямъ загорѣться, городъ далеко видать, и огней нѣтъ, какъ нѣтъ. Что за оказія?.. Остановился Спирька, вокругъ оглядѣлся — пи зги не видать.

- Ахъ, ты...—проворчаль мужиченка и началь скверными словами ругаться, плювуль и чорта помянуль. И только это помянуль онъ чорта, какъ видить, кто-то въ снъгу кувыркается, черненькій, мохнатый, на какого-то звърька похожій: залцъ не заяцъ, собака не собака, лиса не лиса...
- Кышъ, окаянный!—закричалъ Спирька и захлопалъ рукавицами.

Пересталъ кувыркаться, сълъ на сугробинъ и дожидается. Подошелъ Спирька поближе да такъ и замеръ отъ страха: чортъ оказался!.. Сидитъ на сугробъ, ноги калачикомъ, лапой за ухомъ чешетъ, а другой подманиваетъ.

- Съ нами крестная сила! прошенталъ Спирька и сотворилъ молитву.
- Не бойся, мужичекъ, я тебѣ ничего не сдълаю!..—скрипитъ чортовъ сынъ.
- Кто ты такой?.. По видимости, ты нечистая сила!..—говорить Спирька.

- Дъйствительно, мужичекъ, между нами говоря, я—чортъ...
- А, въ такомъ случать, и поди къ чорту, такъ какъ я съ рожденія крещеный и съ вашимъ братомъ путаться не хочу...

Сказалъ это Спирька и опять крестомъ себя оградилъ. Пошелъ онъ дальше, а чортъ идетъ позади и говоритъ:

- Мы попутчики… Мив тоже въ городъ… Вдвоемъ все веселъе…
- Дорога никому не заказапа... Иди, только, брать, не разсчитывай, что я тебъ свою душу продамъ.

Чорть пошель рядомь, и стали они помаленьку оть скуки разговаривать.

- Холодно вотъ... Тебѣ въ шубѣ хорощо, а вотъ мнѣ-то въ зипунѣ дырявомъ...
- Хвость мерзнеть! пожаловался чорть, а Спирька посм'ялся:
- Скажи, братецъ, на кой лядъ вамъ эти хвосты подвъшены?.. Тоже и рога.
- Такое положеніе! Мы тоже народъ подневольный...
- Ежели вамъ хвосты обрубить, рога обломать, шерсть остричь, такъ, пожалуй, и за человъка сойдете... Смотри, миленокъ, не сбились ли мы съ пути-дороги? Давно бы огнямъ надо быть, и ихъ непримътно...

И сталъ Спирька жаловаться на свое

83 6\*

житье-бытье, разсказывать про голодуху, про земскаго начальника, про голодныхъ ребятишекъ, про хворую бабу...

- Вся надежда на эти три елки... Продамъ завтра на базаръ, хлъба куплю.—И такъ онъ своимъ горемъ чорта разжалобилъ, что стыдно ему стало надъ голоднымъ мужикомъ куражиться.
- Воть что, мужичекъ! Могь бы я тебя въ соблазнъ ввести, воромъ сдълать, въ тюрьму посадить, заставить тебя кровь человъческую пролить, да жалко, а при томъ и въ аду васъ, мужиковъ, не больно цънятъ. Одна вамъ цъна, какъ па семъ, такъ и на этомъ свъту...
- Извъстно! Правильно! Какая въ насъ корысть?.. Ты сперва меня богатымъ сдълай, темноту мою просвъти, а потомъ ужъ и... спрашивай!
- Такъ вотъ, прямо скажу тебъ, что ты сбился съ дороги и вмъсто города обратно въ свою деревню идешь...
- Ахъ, ты, въ ротъ тѣ пирога съ горохомъ!—обругался Спирька.—Что же ты, такой-сякой, со мной сдѣлалъ?.. Совѣсть-то гдѣ у тебя!?
- Постой, не ругайся... Гръхъ въдь такими словами...
  - Ахъ, ты...

Спирька не могъ остановиться. Понималь, что чорть върно про гръхъ говорить, но пока не обругалъ чорта встми скверными словами, какія только зналъ, не остановился.

— Съ тобой, чортовъ сынъ, и про Бога забудень... Что я теперь буду дълать?

И Спирыка метнулся въ другую сторону.

- Погоди!..
- А ну тебя къ...

Еще разъ ругнулъ Спирька чорта и псшелъ своей дорогой. А чортъ догналъ его и говоритъ:

— Хочешь, мигомъ въ городъ достазлю? Садись на сшину!

Спирька пріостановился, погляд'влъ на чорта и говорить:

- Да ты что, въ умѣ ли? Чтобы я, православный, верхомъ на нечистой силѣ? Да я лучше въ полѣ замерзну, чѣмъ такъ срамиться...
- Я понимаю, очень даже понимаю, что тебѣ на чортѣ зазорно. Однако, погоди ругаться: поѣдешь не верхомъ на чортѣ, а на парѣ съ колокольчиками, не хуже земскаго начальника...
- Hy! А въ ротъ тѣ малины... Нешто можешь на парѣ?..

— На то я и чорть. Согласень?...

Спирька почесаль въ затылкъ. Никогда онъ не ъздилъ на паръ съ колокольчиками.

- Такъ-то такъ, отчего бы не повхать, а только какъ же оно выйдетъ? Хорошо ли будетъ: самъ въ дырявомъ зипунѣ, въ лаптяхъ, а на парѣ съ колокольчиками?
- Да ужъ коли нетрудно миѣ пару лошадей дать, такъ пріодѣть-то тебя и подавно. Кѣмъ хочешь ѣхать: купцомъ, бариномъ или какимъ начальствомъ?

Даже остановился мужиченко, такъ поразила его возможность хоть на одинъ часокъ сдълаться такимъ высокимъ человъкомъ.

- Купцомъ можно бы... Почему не сдълаться купцомъ?.. Ну, тоже и бариномъ не вредно... Говоришь,—и земскимъ можно?
  - Можно.
- Гм!.. Что-нибудь ты хитришь... Безь пользы не будешь съ мужикомъ такую забаву продълывать... Не пначе, какъ въ адъ меня доставить хочешь.
  - А ты не сомнъвайся!..

А вътеръ вылъ и пурга все усиливалась Совсъмъ стемиъло. Спирька продрогъ, борода смерзлась съ усами и говорить даже трудно было. — Песъ съ тобой! Подавай лошадей, купцомъ поёду...

Перекувырнулся чорть трижды и превратился въ ямщика въ овчинномъ тулупъ, съ кнутомъ и рукавицами за поясомъ, а въ снъжномъ туманъ колокольчики зазвенъли.

- Тпру!—крикнулъ ямщикъ и подъ самымъ носомъ у Спирьки теплый возокъ выросъ
- Садитесь, купець!—сказаль ямщикъ. Спирька хотъль зипунъ оправить, глядь, а на немъ шуба енотовая, а на ногахъ, вмъсто даптей, сапоги валеные съ галошами на мъху...
- Ахъ, въ роть тѣ!..—произнесъ Спирька и полъзъ въ возокъ.

Вдеть Спирька въ возкъ, въ енотовую шубу запахнулся, ноги въ медвъжій пологь зарылъ, подъ спиной—подушка мягкая, на головъ—шапка бобровая.

— Гони! Гони!..

Мчатся кони въ снѣжномъ буранѣ, плыветь возокъ, покачиваясь съ боку на бокъ, а мужикъ улыбается и думаетъ:

— Воть онъ, лошадки-то!.. Надо быть, одинъ овесь жруть... Хорошо!.. Покурить, что ли?..

Пользъ въ карманъ за махоркой, а въ

карман'в—портсигаръ серебряный. Вынулъ напиросу, вставилъ въ ротъ и дымитъ. И все больше въ немъ гордости рождается. Я ли, не я ли, купецъ, Спиридонъ Тимофеевичъ Трофимовъ. Эхъ, какъ хорошо! Всю жизнь 'вхалъ бы на пар'в съ колокольчиками да на ямщика покрикивалъ. Долго ли онъ 'вхалъ, неизв'встно, только, когда очиулся отъ сладкой дорожной дремы,—возокъ стоялъ, тихо колокольчики съ бубенчиками позванивали, а впереди тысячи огней гор'вли и шумъ, какъ въ л'всу при в'втр'в, гудълъ. Городъ!..

- Ты что всталь?
- Колокольчики надо подвязать. Не велять въ городъ съ колокольчиками.
- Какой же ты чорть, если начальства боишься!
- Для тебя д'влаю. Мн'в ничего не будеть: перевернусь вороной и улечу, а ты въ часть попадешь... Коли не боишься, повдемъ съ колокольчиками.
  - Нътъ, братецъ, лучше подвяжи!..
- Вотъ то-то и оно!.. Куда въвхать: въ гостиницу, въ номера, въ ресторацію?
- На постоялый, что ли... Только денегь-то у меня...
- Не жмись: въ бумажникъ тысяча лежить.

Пощупалъ мужикъ карманъ, дъйствительно, бумажникъ. Вынулъ, поглядълъ: биткомъ набитъ сотенными билетами.

- Дъйствительно!.. Деньги есть...
- Какъ же у купца деньгамъ не быть! Подъйхали къ рестараціи, выскочили на крыльцо два молодца, чтобы господина прійзжаго принять. Вылійзъ купецъ изъ возка, его подъ ручки по лібстницамъ повели въ горницу, а ямщикъ за нимъ три толстыхъ чемодана понесъ.
  - Пожалуйте, господинь купець!

Растворили номеръ,—ковры, зеркала, картиночки на стѣнахъ развѣшаны, диваны, стулья мягкіе и свѣту, какъ лѣтомъ отъ солнышка... Молодцы ушли, а ямщикъ въ передней дожидается.

- На чаекъ бы съ вашей милости!..
- ...онжоМ —

Купецъ порыдся въ бумажникъ и подаетъ красненькую:

— Иди теперь!..

Махнулъ рукой, а тотъ не уходить, на мъстъ топчется.

- Что же? Али мало?..
- Теперь я свое дѣло сдѣлалъ,—до города тебя доставилъ...

Перекувырнулся ямщикъ на полу и обратился въ чорта, а купецъ снова голод-

нымъ мужикомъ сдълался. Смотритъ Спиръка на чорта, а себя не видитъ, что снова въ лаптяхъ и драномъ зипунъ стоитъ, испугался и говоритъ:

- А ты ямщикомъ вышель бы, а въ полъ ужъ обернулся!.. Миъ неприятности не вышло бы, какъ увидять, что меня чорть привезъ...
- А ты поглядись въ зеркало!—сказалъ чортъ и жихикаетъ, вертя хвостомъ.

Погляделъ Спирька въ зеркало и горько заплакалъ Схватился за карманъ, а тамъ никакого бумажника, одна дыра... Упалъ онъ передъ чортомъ на колени и сталъ просить:

— Чортушка! Батюшка!.. Не губи, родимый!.. Обрати въ купца и не передълывай!..

Посмотр'влъ на него чортъ, почесалъ за ухомъ и говоритъ:

- Почему же?.. Только за эту услугу ты мнъ свою совъсть отдай.
- Милый! Да какая корысть тебѣ въ моей совъсти? Голодная у меня совъсть! Самъ понимаень, что бъдному человъку трудно съ ней, съ совъстью-то... Малая у меня совъсть, заморенная...
  - А ужъ это не твое дѣло.

- **Ну, а какъ же я самъ-то?..** Поди тоже п купцу нельзя безъ совъсти-то.
  - Я тебъ дамъ другую, купецкую...

Хитрый быль мужиченко Спирька, норовиль самого чорта надуть:

- А какая придача будеть Обидно оно такъ на такъ мъняться...
- Хорешо. Куда ни шло, дамъ тебъ въ придачу рупь неразмънный...
  - Воть это такъ!.. Спасибо!
- Садись на кровать: я мужицкую совъсть изъ тебя выну...

Сълъ Спирька на мягкую постель, а чортъ верхомъ на него, засунулъ лапу въротъ и полъзъ подъ самое сердце...

- Ой, батюшки!.. Больно!.. Оставь!.. Ой, помру!..
- Вонъ она какъ крѣпко сидитъ… Потерпи маленько!..

Уперся чорть въ брюхо колѣномъ и, покряхтѣвъ, вытянулъ совѣсть вмѣстѣ съ кровью.

— Вотъ и все!.. Плюнь теперь... Встань и плюнь въ передній уголъ.

Всталь мужикъ съ постели и плюнулъ въ передній уголъ. И такъ ему вдругъ легко и свободно стало, словно больной зубъ докторъ вытянулъ...

— Не больно?..

- Нисколько!
- Перекувырнись теперь!

Спирька перекувырнулся и снова въ купца обратился, пощупалъ карманъ,—оттопыривается.

- Теперь прощай!..
- Постой, постой!.. А мив-то, совъстьто купецкую!..
  - Да надо ли?..
  - Нехорошо... Дай ужъ!..

Чорть вытянуль изъ хвоста складной аршинъ, положиль его купцу въ боковой карманъ и говоритъ:

— Воть тебъ совъсть купецкая!..

Сказалъ, захохоталъ, хвостомъ поигралъ, свистнулъ и пропалъ...

Съ этой поры Спирька и купцомъ сдѣлался, Спиридономъ Тимофеевичемъ Трофимовымъ. Теперь у него на селѣ хорошій домъ въ два этажа; въ верхнемъ самъ живеть, а въ нижнемъ—магазинъ держитъ. Богатый, подлецъ: барскую усадьбу снялъ, трактирное заведеніе открылъ, съ машиной, съ живой фотографіей. Всѣхъ мужиковъ въ кулакѣ держитъ, съ земскимъ дружитъ, со становымъ покумился, да и скупъ же, старый чортъ: подойдетъ подъ окошко либо къ магазину голодный мужичекъ или баба, а онъ имъ:

— Богь подасть!

А по селу тайная молва идеть:

Каждый годъ въ полночь на новый годъ къ купецкому крыльцу пара вороныхъ съ колокольчиками и бубенчиками подкатываетъ, выходитъ съ крыльца Спиридонъ Тимофеевичъ въ енотовой шубъ и бобровой шанкъ, садится въ возокъ и уъзжаетъ... Конечно, все бы это ничего было,—почему купцу на паръ съ колокольчиками не прокатиться? А только дъло въ томъ, что...

Давай-ка поближе ухо:

— Сказывають, что на козлахъ-то у нары, замъсто ямщика, чорта видъли...

Воть она, чортова-то жалость... Не дай Богь, чтобы человъка крещенаго чорть пожалъль!..



## Оглавленіе.

|                          |  |  |  | Стр. |
|--------------------------|--|--|--|------|
| Блудный сынъ. Повъсть.   |  |  |  | . 3  |
| Противники Разсказъ      |  |  |  | . 51 |
| Миражъ. Разсказъ         |  |  |  | . 63 |
| Чортова жалость. Сказка. |  |  |  | . ε1 |



Безплатное приложеніе къ журналу "ПРОБУЖДЕНІЕ".